

Духовная проза

ЮРОДИВЫЙ ХРИСТА РАДИ

Юродивые, блаженные и праведники в русской классике



Духовная проза (Вече)

**Юродивый Христа ради.
Юродивые, блаженные и
праведники в русской классике**

«ВЕЧЕ»

2019

Юродивый Христа ради. Юродивые, блаженные и праведники в русской классике / «ВЕЧЕ», 2019 — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7931-1

Слово «юродство» в изначальном значении – духовно-аскетический подвиг, отказ от мирских благ и от того поведения, которое принято называть «разумным». Такой человек, не заботящийся о собственном быте, говорящий всем правду в лицо и боящийся только Бога, почти всегда кажется глупцом или безумцем, но «разумные» все равно прислушиваются к юродивому. Это ли не чудо? На Руси голос юродивого считался «гласом Божиим», и неудивительно, что образ «юродивого Христа ради» нашел отражение во многих произведениях русской литературы. Одни из наиболее ярких произведений, принадлежащие перу О. Сомова, Н. Лескова, Г. Успенского, И. Бунина и Б. Зайцева, составили этот сборник.

ISBN 978-5-4484-7931-1

, 2019

© ВЕЧЕ, 2019

Содержание

Орест Михайлович Сомов	6
Юродивый	6
Николай Семенович Лесков	18
Очарованный странник	18
Конец ознакомительного фрагмента.	49

**Юродивый Христа ради.
Юродивые, блаженные и
праведники в русской классике
Составитель Светлана Лыжина**

*В оформлении обложки использована картина
«Юродивый» Сведомского П.А*

Орест Михайлович Сомов (1793–1833)

Юродивый (Малороссийская быль)

Весело ехал молодой офицер из одной загородной деревни, где провел день в самом приятном кругу – в кругу гостеприимных хозяев, милых их дочерей и пяти или шести молодых своих товарищей. Он спешил на ночь в город, потому что на другой день должен был идти в караул. Луна, верная спутница летних ночей украинских, сыпала серебряный свет свой на рощицы, на холмы и поля и рисовала взору прелестные картины, дополняемые пылким воображением.

Лихая тройка коней быстро несла каткие дрожки офицера. Вдруг, на повороте около одного оврага, что-то черное, лежавшее почти на самой дороге, мелькнуло в глаза пугливых коней; кони всполохнулись, рванулись и, не чуя вожжей кучера, бросились в сторону с большой дороги, по рытвинам и кочкам. Кучер слетел со своего места, офицер почти вслед за ним – и кони скоро скрылись из глаз.

Не чувствуя никакого ушиба, Мельский – так назывался офицер – встал, отряхнулся и пошел отыскивать своего кучера, которого скоро нашел также на ногах и в добром здоровье. Оба они упали на мягкий чернозем и отделались только невольным своим полетом. Поздно было искать лошадей; да и где их найти? Почему офицер, со всею беспечностью молодых лет, оставя на произвол судеб коней своих и колесницу, захотел узнать, что было причиною их испуга.

– Иван, – говорил он кучеру, шедшему вслед за ним, – как ты думаешь, чего испугались лошади?

– Помилуйте, сударь, да как и не испугаться: на дороге лежала целая стая волков!

– Трус! Недаром говорят: у страха глаза велики.

– Да право, сударь, их было по крайней мере пары две или три.

– Перестань болтать пустое; если б это были волки, то ужли ты думаешь, что они и не пошевелились бы в то время, когда мы со стуком пронеслись мимо них?

– Воля ваша, сударь, а я сам видел с полдюжины глаз, которые горели, как уголья.

– Полно, полно! Ты видел в траве какого-нибудь светляка или и вовсе ничего не видал.

Ступай за мною: пойдем доведываться, что там было.

– Да как, сударь! При мне ни топора, ни большого ключа от колес: все это в дрожках.

– При тебе твой кнут, а за поясом вижу у тебя большой складной нож: этого очень довольно. Ступай за мною, и больше ни слова.

Не смея ослушаться своего барина, Иван пошел за ним, взяв в обе руки оба свои оружия, повеся голову и ворча себе под нос.

Мельский и сам из предосторожности вынул шпагу и окидывал взором дорогу впереди себя. Небольшого труда стоило ему отыскать черное страшилище Ивана и лошадей: то был человек; он лежал на краю дороги, поджав ноги под платье и укутав голову рукою, и, казалось, спал крепким сном.

– Вставай, пьяница, – кричал ему Мельский, толкая его под бок носком сапога.

– Пьяница? Не я пьяница, а твои глаза охмелели, – отвечал грубый, хриповатый голос.

– Вставай же, покамест тебя не подняли неволею.

– Оставь меня! Тебе завидно, что я здесь сплю в чистом поле, и самому приходит охота полежать на сырой земле. А вот подожди с недельку, тогда и я в свой черед тебе помешаю...

– Ну как хочешь, приятель, а я тебя вытрезвлю, – сказал Мельский, принимая его за пьяного, который грезил с хмеля. – Иван, подними его!

– Не дотрагивайся до меня, хам! – сказал мнимо пьяный и поспешно встал на ноги.

Это был человек высокого роста, с щетинистой бородою и всклокоченными на голове волосами. Лицо его было бледно и сухо и при лунном свете казалось как бы мертвым; мутные, бродящие глаза его показывали, что голова его не в самом здоровом состоянии.

– А, да это наш полоумный, – вскричал кучер, очнувшись от страха, – в городе зовут его Василь Дурный.

– Дурный! – подхватил Василь, передразнивая кучера. – Правда, Василь не обижает бедных лошадей и не продает их сена и овса на сторону, не бьет понапрасну бедного козла на конюшне, не ходит в кабаки по ночам и не бранит тайком своего барина. Василь боится Бога, ходит в церковь, читает молитвы и поет стихиры; Василь живет подаянием, а боже избави его красть или обманывать.

Во всю эту речь кучер стоял как сам не свой, повесив голову и утупив глаза в землю, как будто искал чего-то под ногами. Мельский между тем улыбался и поглядывал то на кучера, то на полоумного, который стоял без шляпы, в черном длинном платье толстого сукна, сшитом наподобие монашеского подрясника; подпоясан он был узким ремнем с железною ржавою пряжкой; обуви на нем вовсе не было; в руке держал он длинную палку с вырезанными на коре ее узорами.

– Иван, – сказал Мельский кучеру, – ступай в ту сторону, куда убежали лошади, и старайся их отыскать!

– Ступай! – примолвил юродивый. – Найдешь и не возьмешь; отзовутся и не дадутся.

Кучер отправился искать лошадей, а Мельский пошел по дороге к городу. Полоумный, не отставая от него, шел широкими скорыми шагами, размахивая и опираясь своею палкою, и напевал духовные песни. С Мельским он не заводил разговора.

Мельский воспитан был в нынешнем веке и по-нынешнему, следовательно, вовсе без предрассудков. Но странный его спутник вселял в него какое-то незнакомое чувство: то был не суеверный страх и не подозрение, а нечто между тем и другим. Грубый, сиповатый голос полоумного и унылые напевы стихир из панихиды терзали слух молодого офицера и разливали в душе его тоску непонятную.

Во всю дорогу Василь пел и не говорил ни слова; Мельский молчал и как бы боялся завести с ним разговор. Таким образом прибыли они к городской заставе. Часовой окликнул и, взглянув на мундир и на лицо Мельского, почтительно дал ему дорогу; но, как можно было заметить в светлую лунную ночь, солдат казался удивленным, увидя своего полка офицера пешком и с таким странным товарищем.

– Ваше благородие, – сказал вполголоса служивый, подойдя к Мельскому, – не прикажете ли задержать этого бродягу? Он иногда раз двадцать за ночь проходит туда и назад чрез заставу, и бог знает, что у него за дела и все ли доброе на уме?

– Бродягу! – громко сказал полоумный. – А задержал ли ты того бродягу, который когда-то без спроса отлучался от полка и явился тогда, как его за шею приволокли? Ему бы палочки, палочки... много, много! Благо, что командир добрый, пожалел его спины.

Солдат остолбенел, а Мельский с удивлением смотрел на юродивого. Ему странно казалось, как человек, лишенный полного употребления ума, мог знать все тайны людей, почти вовсе ему незнакомых?

Полоумный, окончив свою речь, пошел прежним своим шагом вдоль по улице. Мельский скоро догнал его; из любопытства ли или по другому какому побуждению, он решился с ним заговорить.

– Где ты живешь? – спросил он у полоумного.

– Под небом на земле, – отрывисто отвечал Василь.

– Верю; но где твой дом?

– Здесь нет; а там! – сказал юродивый, подняв палку вверх и очертя ею полкруга в воздухе.

– Где же твой ночлег?

– Где Бог приведет.

– Так ночуй у меня; я тебя накормлю...

– Да, накормишь! – грубо перервал юродивый. – Сегодня пятница, а у тебя на столе то курочка, то уточка.

– Хорошо; я велю тебе подать чего-нибудь нескоромного; напою тебя добрым вином, дам тебе хорошую постелю.

– Василь пьет воду; Василь спит на голой земле или на помосте. Да пусть по-твоему: было не было – ночую у тебя.

До квартиры офицера ни он, ни юродивый не говорили больше ни слова. Одетый денщиком слуга Мельского отворил дверь на стук своего господина и чуть было не уронил свечи, отступя назад, когда увидел, какого гостя барин привел с собою.

– Василь не леший! – сказал поспешно юродивый. – Он бродит по ночам, а не шатается. А пузе в лавках ничего не забирает в долг на чужой счет.

Ловкий слуга думал отделаться медным лбом. Он усмехнулся и оборотился, чтобы светить своему барину по лестнице.

– Смейся! – ворчал юродивый, как будто сам с собою. – Заплачешь, и горько заплачешь, и об эту ж самую пору.

Мельский взглянул на юродивого; но он уже шептал и, как видно было, молитвы, потому что от времени до времени крестился и наклонял голову.

– Весело, светло, красно! – сказал он, войдя в комнаты. – Много казны, много казны! – и запел старинную песнь о блудном сыне:

О горе мне, грешнику сущу.

Горе, благих дел не имущу.

По приказанию Мельского ужин для юродивого был приготовлен, но он ел только хлеб, а пил воду и очень немного вина. Во время ужина он молчал и только иногда делал набожные восклицания; потом, помолясь Богу и поблагодаря хозяина, он сказал:

– Теперь дай мне ночлег поближе к дверям, что на улицу. Когда мне надобно будет идти, я разбужу кого-нибудь из твоих людей и велю за собою запереть двери. Еще увидишь меня, и еще, и еще. Тогда Василь скажет тебе большое спасибо и пойдет далеко, далеко – отсюда не видно!

Он выбрал себе ночлег в передней и расположился на полу у самых дверей. Мельский остановился и смотрел, что он будет делать. Юродивый долго и с теплою верою молился, стоя на коленях и часто поднимая руки к небу; потом, положив на полу под голову себе данную ему подушку и откинув на сторону всю прочую постелю, он лег не раздеваясь и в ту же минуту закрыл глаза.

Мельский также пошел в свою спальню и лег в постелю. Он думал, что утомление от загородных его резвостей и танцев и от невольного пешеходства даст ему крепкий и спокойный сон, но обманулся. Станный вид странного его гостя, его слова, в которых он отчасти открывал, что случилось и что случится вперед, не выходили из головы молодого офицера. Он всячески старался уверить себя, что слова полоумного были обыкновенным последствием расстроенной головы, что там, где он как будто бы намекал на дела, которые ему не могли быть

известны, говорил он наудачу, зная общие повадки слуг, и что сказанное им солдату мог он как-нибудь услышать от его сослуживцев; со всем тем юродивый беспрестанно представлялся его воображению. Несколько раз Мельский заводил глаза и принуждал себя уснуть; но ему было так душно, комната его теснила, стены как будто сжимались вокруг кровати, и потолок над нею пригибался к полу. В досаде Мельский ворочался, бранил себя за эту неизвестную ему доселе слабость и снова закрывал глаза; но если иногда забывался, как перед сном, то вид юродивого, его бледные впалые щеки, его мрачный взгляд и бродящие глаза, его высокий стан, выраставший выше и выше и, наконец, превращавшийся в исполинский, неотступно были в мечтах молодого офицера и мучили его, как бред горячки. То чудилось ему, что юродивый хватает его за руку жилистою, сухою своею рукою или что он наклоняется к нему на изголовье и говорит грубым, хриплым своим голосом: «Вставай, я пришел помешать тебе ложиться». Мельский вздрагивал и вскакивал. Наконец, видя, что не может приневолить себя уснуть, он приподнялся, сел на постеле и начал в мыслях доискиваться естественной причины своей бессонницы и нелепых грез, которые его тревожили. «Так, – наконец сказал он сам себе, – нет ничего естественнее: излишнее движение привело сегодня кровь мою в волнение; это временный нервический припадок. Смешно, что я, солдат, не робевший ни пуль, ни штыков, расстроил себе воображение вздорным бредом, и от чего ж? от полоумного!» Рассуждая таким образом, Мельский успокоился; но чтобы вполне разуверить себя, что юродивый ему вовсе не страшен, он встал, взял горевшую в другой комнате ночную свечу и пошел в переднюю. Долго смотрел он на странного виновника своей бессонницы. Юродивый спал крепким сном, на лице его видно было спокойствие чистой совести и детская беззаботность; только раз сквозь сон провел он туда и сюда рукою перед лицом, как будто бы отмахивая от себя что-то неприятное. Мельский возвратился в спальню и лег опять в постель; на этот раз природа взяла свое; он начал засыпать, как вдруг послышалось ему, что над головою у него что-то затрещало; стены как будто бы обрушились и падали с протяжным гулом. Он снова вскочил и, не приписывая этого мечте, а какому-нибудь шуму в доме, опять взял свечу, прошелся по всем комнатам и еще раз взглянул на юродивого, который спал, как и прежде; все домашние Мельского также погружены были в глубокий сон, в доме все было тихо и спокойно, все уборы, все вещи стояли в целостности на своих местах. После сего осмотра Мельский ушел в свою комнату и на этот раз спокойно проспал до самого того времени, как слуга вошел напомнить ему, что время собираться в караул.

– А вчерашний наш чудак? – спросил Мельский.

– Он ушел, сударь, куда еще до солнца. Чуть начало брезжиться, он разбудил меня, чтоб я запер за ним дверь, и велел только доложить вам, что скоро скажет вам большое спасибо за вашу хлеб-соль.

– Все ли цело в доме? – спросил Мельский, не хотя прямо спросить о шуме, который послышался ему ночью.

– Все, сударь, – отвечал слуга почти сквозь зубы, приняв, что вопрос сей относился на счет Василя. – Этот дурачок ничего не уносит, где днюет или ночует, как бы что плохо ни лежало.

– Я не о том спрашиваю, – сказал Мельский, дав другой вид своему вопросу. – Пришел ли кучер и нашлись ли лошади?

– Кучер пришел, сударь, только без лошадей. Он здесь, в передней, дожидается, когда изволите выйти.

Мельский велел позвать кучера, который рассказывал ему, что в одном небольшом леску слышал ржание и сарпанье лошадей, но за темнотою от заката месяца, за густыми кустарниками и валежником никак не мог пробраться к тому месту; что страх от волков помешал ему дожидаться там утра, но что он теперь же опять идет туда.

Побраня и отослав кучера, Мельский оделся, вышел в другую комнату и взглянул в окно. Там увидел он, что лошади его и с дрожками мчались во всю прыть по улице и вдруг остановились перед домом. Ими смело и ловко правил юродивый, а кучер бежал следом. Осадив и остановив лошадей на всем бегу, юродивый сдал вожжи подоспевшему кучеру, а сам пошел в комнату к Мельскому.

– Моя беда, хоть не моя вина, – сказал он, вошедши. – Василь поправил, как умел; вот твои кони и колесница: кое-что пообито и порастеряно. Да ты не горюешь; у тебя лишних рублей много, много – хоть за окно мечи! Так почти ты и делаешь.

– Да ты почему это знаешь? – спросил его Мельский.

– Знаю, знаю! Василь все знает: так ему на роду написано. Пестренькие карточки много тянут рублей по зеленому сукну; а там и пиры, и затеи, и бог весть!.. Правда, подаешь гривенки нищим, и много... Хорошо, хорошо, не пропадут!

– Вот и тебе гривенка за то, что отыскал и привел моих лошадей, – сказал Мельский, подавая ему червонец.

– Спасибо! Красен, красен! Много свеч Богу, много гривенок братьям, – молвил юродивый, держа червонец на ладони и смотря на него. – Спасибо, прощай!

Мельский хотел его остановить, но он уже ушел; посланный слуга кликал его на улице, но он не оглядываясь шел размашистым скорым своим шагом и распевал стихиры.

В остаток этого дня ничего особенного не случилось с Мельским, так как и в следующие за тем дни; он почти позабыл о юродивом, который и сам не являлся и не встречался ему. На шестой день он собирался вечером на бал к богатой и роскошной графине Верской; уже он сел на дрожки, чтоб ехать к графине, как вдруг увидел идущего по улице Василя, который размахивал своею палкою и давал ему знак подождать. Мельский, желая узнать, что из того будет, велел кучеру приостановиться.

– Постой, повороти оглобли, – сказал юродивый, подойдя к офицеру. – Подале оттуда: там тесно, душно; там все вертится – и ноги и голова. Закружишься – забудешься; на сердце одно, а на языке другое. Язык наш – враг наш: прежде ума рыщет.

Мельский усмехнулся и, занятый ожидавшими его веселостями, бросил несколько серебряных денег юродивому, закричал кучеру: «Ступай!» – и скоро проскакал по улице. Однако ж, по невольному движению, он оглянулся при повороте в другую улицу и увидел, что юродивый, стоя все на том же месте, взглянул на небо и размахнул обеими руками врозь, как будто бы хотел сказать: да будет воля Твоя!

В шуму праздника Мельский скоро позабыл неприятное впечатление, оставленное в нем внезапным появлением, словами и выразительным телодвижением юродивого. Он был отменно весел, шутив и танцевал очень много. Между девицами, украшавшими собою бал, отличалась от всех Софья Ластинская, осьмнадцатилетняя красавица, богатая невеста и лучшая танцовщица в городе. Софья была хорошо воспитана, умна, с добрым сердцем; но на все эти добрые качества набрасывали темную сетку ее кокетство, ветренность или, лучше сказать, легкомыслие и невоздержная охота построить язычок на чужой счет. Мельский имел и сам эту последнюю слабость, и потому на всех балах, где им случалось быть вместе, в танцах и между танцами они всегда находили случай сообщить друг другу колкие свои замечания насчет других танцовщиков и танцовщиц; иногда, поглядывая на бостонные и вистовые столики, перебирали они сидевших за ними смешных старушек и спорщиков-старичков. Часто язвительная улыбка Мельского или громкий неосторожный смех Софьи обличали перед другими то, что они говорили между собою вполголоса, а провинциальная щекотливость заставляла многих думать, и часто впопад, что тут говорилось на их счет. За что в отплату мстительное самолюбие осмеянных ими или считавших себя осмеянными назвало их неразлучными. И в самом деле, шутя над другими, Софья не обращала внимания на себя: она не замечала, как часто и неосторожно искала глазами Мельского между танцующими, как часто садилась поодаль от

других, чтобы приберечь ему место подле себя. Мельский не был из тех молодых самолюбцев, которые всякую малозначашую благосклонность пригожей женщины перетолковывают в свою пользу, однако ж столь явное к нему предпочтение Софьи не укрылось от наблюдательных глаз его; он и сам чувствовал к ней некоторое влечение: Софья была молода, прекрасна, образованна, с живым, пылким умом... но, по странному противоречию сердечных склонностей, все их отношения друг к другу ограничивались взаимною охотою шутить насчет других. Сердце Мельского до сих пор молчало или искало в Софье других качеств, лучше тех, которые он знал в ней по светскому знакомству.

Легко можно догадаться, что и на балу у графини Верской неразлучные скоро отыскивали друг друга. В нескольких танцах сряду были они точно неразлучны, и завистливая молодежь и обиженное самолюбие шепотом между собою пророчили уже им скорую свадьбу. Как и часто случается, они, шутя насчет других, не замечали, что и над ними подшучивают. К концу бала стали собираться пары на котильон; Мельский подле Софьи, и, благодаря длинным расстановкам бесконечного танца, острые их замечания в полной свободе переливались от одного к другой и наоборот.

– Вот самая большая красавица, – говорила Софья, указывая глазами на одну из танцовщиц, – по крайней мере по росту; похвалитесь хоть одним гренадером вашего полка, который бы, в кивере и со всею вытяжкой, мог с нею поравняться.

– Зато какой у нее крохотный кавалер, – примолвил Мельский, – он ей ровно вполталии. Посмотрите, как бедняцкий мучит свои ноги, чтоб не отстать от нее в вальсе. Но мудрая природа везде любит уравнение: оба они, вершковую мерю, составляют полную пару танцовщиков среднего роста.

– Ах, посмотрите, посмотрите на эти желто-серые глазки: как приманчиво они вертятся под белыми ресницами! Бедняжки, и им кажется, что могут кому-нибудь понравиться!

– И как видно, они не ошиблись. Видите ли, как этот длинноногий немчик, кавалер той дамы, около нее увивается. Bravo! он говорит ей нежности; это видно по немецко-патетическому выражению глаз его и лица.

– Полюбуйтесь Жар-птицею: пунцовые цветы на голове, пунцовое платье, пунцовый румянец на щеках и почти пунцовые волосы! Вот ей-то, *par excellence*¹, пристал русский эпипет: красная девица.

– А поджаристому ее кавалеру – горе-богатырь. Право, ему вальс кажется похоронным маршем; так он наморщился и такую плаксивую сделал из себя маску.

Слушая и делая также замечания, Мельский заметил, что Софья, иногда со смехом от его шуток, иногда с весьма важным видом, оглядывалась назад. Там стоял, в нескольких шагах от них, артиллерийский офицер, держал палец у рта, как будто бы грыз себе ногти, и сурово посматривал то на Мельского, то на Софью. Всему бывает конец; и котильон, иногда продолжающийся до утра, особливо в провинциях, на этот раз кончился довольно скоро. Софья скрылась от глаз Мельского, а он, желая подышать свежим воздухом, пошел к стеклянным дверям, ведущим в сад. Там артиллерийский офицер, как видно было, выжидавший его, заступил ему дорогу.

– Позвольте, – сказал Мельский весьма учтиво.

– Позвольте наперед узнать от вас, милостивый государь, что говорила вам и чему смеялась ваша дама?

– Вот хорошо! – отвечал Мельский, не вышедши еще из терпения. – Разве эта дама поручена в ваш надзор? Да если б и так, то надеюсь, что вы столько знаете законы рыцарские...

– Милостивый государь! – запальчиво перервал артиллерист. – Я требую от вас не пустословия, а дела...

¹ Преимущественно, главным образом (*фр.*).

– А я требую от вас, сударь, – подхватил Мельский таким же тоном, – сказать мне, где вы взяли право меня допрашивать?!

– Я покажу это право в свое время.

– А я покажу, как умею отделять навязчивых допросчиков.

– Дерзкий!..

И слово за слово, шум сделался сильнее и сильнее; около двух офицеров стеснился кружок любопытных: все расспрашивали, от чего начался спор. Но ни Мельский, ни артиллерист не могли и не хотели открыть коренной причины ссоры.

Как и всегда, и в этом случае нашлись услужливые примирители и ревностные поджигатели той и другой стороны. Сослуживцы Мельского твердили, что для чести их мундира это дело должно кончиться дуэлью, и дуэлью смертною; защитники артиллерийского офицера говорили то же. Оба противника сами того искали и хотели. Тут же, вышед в сад, назначили секундантов и свидетелей, место поединка – в роще, на второй версте от города; оружие – пистолет, до смертельной или очень тяжелой раны; и время – на другой день, в семь часов утра.

Не было больше путей к примирению; не было способа объясниться и виноватому извиниться перед правым: все было условлено и положено. К счастью, женщины узнали только, что был спор, а как, за что и чем должен кончиться, о том из предосторожности им не сказали.

Оба противника с их секундантами и свидетелями тотчас уехали с бала. Софья искала глазами Мельского и, не находя его, дивилась его раннему отъезду: она и не подозревала, что была хотя и не вовсе невинною, но неумышленною причиною того, что он должен был выставить грудь против пули.

Приехав домой, Мельский сел перед письменным своим столом и не думал уже ложиться в постель. Он призвал своего слугу, велел подать пистолеты, сам их осматривал, выбирал и примерял пули, готовил заряды. Но природа брала свое: дело, так сказать, валилось у него из рук, пули падали на пол, а порох сыпался мимо патронов. Крайняя его рассеянность или, справедливее, отсутствие всякой посторонней мысли, кроме предстоящего поединка, была бы заметна и не для таких пытливых глаз, какие были у Игнатия, слуги его.

С первого взгляда, по приезде барина, Игнатий заметил уже перемену в лице его; отрывистые приказания, поминутно повторяемые и отменяемые, изменившийся голос, требование пистолетов и зарядов – все это помогало ловкому слуге разгадать страшную истину. Он не смел спросить о том своего барина; но, привыкши с малолетства быть при нем и, несмотря на небольшие свои проказы, будучи к нему искренно привержен, он вышел в переднюю и заплакал горькими слезами.

В это время послышался сильный стук у наружной двери. Игнатий вздрогнул, холод рассыпался по всем его членам; однако ж он вышел и отпер дверь, чтоб узнать, кто стучался: это был юродивый.

– Василь говорил тебе ровно за неделю: «Будешь плакать!» – и должен плакать. Добрый, добрый господин! Дает полную горстью и никогда не считает.

С сими словами пошел он прямо в комнату Мельского. Игнатий не имел духа остановить его.

Мельский все еще сидел за письменным столом как бы в окаменении, устремля неподвижные глаза свои на стол, на котором лежала перед ним белая бумага. В лице ни кровинки; дыхание с каким-то напряжением вырывалось из груди; изредка только легкий судорожный трепет пробегал по его членам, и тогда тонкая краска вдруг вспыхивала на щеках его и вдруг погасала.

– Это ты? – сказал он, обернувшись, Василю, который вошел и стал против него. – Что скажешь?

Василь только покачивал тихо головою и не говорил ни слова.

– На, поделись с бедной братией и помолитесь за... за меня! – промолвил Мельский, схватя свой бумажник и вынув из него сторублевую ассигнацию, которую подал юродивому.

– Поздно! – отвечал Василь, как бы удерживая вздох. – Однако ж Василь возьмет, Василь оделит братию... Пусть так! – продолжал он после некоторого молчания и с расстановками. – Была не была!.. От нее не уйдешь... рано, поздно – все равно... была не была!

Мельский смотрел на него в недоумении: было ли то приправленное по-своему утешение со стороны юродивого или другая какая мысль вертелась в расстроеной голове его – Мельский не мог отгадать.

– Бог же с тобою! – сказал он юродивому по некотором молчании, показывая глазами на дверь.

– Бог и с тобою! – отвечал Василь. – Да, Бог с тобою! – повторил он выразительным, растроганным голосом, который не отзывался уже грубостью и отсутствием ума, как обыкновенная речь юродивого. Он обернулся, пошел к дверям, подняв руки к небу, и при выходе сказал только, как бы на что решившись: – Ну!

Появление его рассеяло раздумье Мельского; по уходе юродивого он принялся писать; потом позвонил, и Игнатий с заплаканными глазами явился на зов своего барина.

– О чем ты плакал? – спросил его Мельский.

– Да как, сударь!.. Что с вами... что со мною будет!.. – И после сих перерывистых слов Игнатий зарыдал снова.

– Ты добрый малый, – сказал ему Мельский, встав и положила руку ему на голову, – живи хорошо, веди себя честно... Вот тебе покамест, – прибавил он, подавая ему пучок ассигнаций, – а здесь и ты, и все другие не забыты. Это письмо отдай – если что случится – моему дядюшке. – Тут он указал на лежащее на столе запечатанное письмо.

Игнатий расплакался и разрыдался пуще прежнего, целовал руки своего барина, клялся, что ему будет житье не в житье, если не станет доброго его господина. Мельский был очень растроган.

Часы между тем текли своим нерушимым порядком; первые лучи солнца проникали уже в спальню Мельского. Он поднял шторы, открыл окно в маленький садик своей квартиры. Ранние птички чиликали в садике; утро было прелестное; роса светилась на зелени. Мельский высунул голову в окно и снова впал в задумчивость. Он думал, что, может быть, это последнее утро его жизни, что он не будет уже в сей вечер провожать глазами заходящего солнца и ночь, непрерывная ночь протянется над ним до бесконечности. Неизвестность будущего, страшный шаг, который должно было ему переступить, – все это толпилось в его воображении и тягчило сердце непомерным гнетом.

Долго оставался Мельский в сем положении. Легкий удар по плечу вывел его из забвения; вздрогнув, он оглянулся. Перед ним стоял Свидов, его секундант, поодаль – оба свидетеля поединка с его стороны, офицеры их полка.

– Полно рассуждать о суете мира сего, – весело сказал ему Свидов. – Теперь половина шестого; нам остается полтора часа. Вели нам подать водки и чего-нибудь перекусить. Тебе, брат, не прогневайся, не дадим: поговей покамест. Такие игры разыгрываются на тощий желудок.

В решительных случаях спокойствие и веселое расположение духа одного товарища сильно действует и на прочих: так и здесь было. Три офицера весело принялись за поданный завтрак; Мельский сел с ними, хотя и ничего не ел. Свидов оживлял беседу. Он шутил, смешил своих товарищей насчет Мельского, говорил, что он нарочно постарался выкроить себе такую плаксивую личину, потому что собирается отпевать своего противника, и тому подобное. Смех прилипчив; Мельский и сам развеселился, особенно когда к концу завтрака Свидов, а за ним и оба другие офицера, налив полные стаканы вина, приподняли их и громко воскликнули:

– Твое здоровье, Мельский!..

– Отблагодарю вас, господа, через два часа, а не прежде, – отвечал Мельский с вольным духом.

Свидов взглянул на часы.

– Ого, друзья, сколько мы бражничали: половина седьмого. Мельский, вели подать свои пистолеты и заряды: я как распорядитель жизни или смерти твоей – не бледней, милый друг! – хочу освидетельствовать, все ли боевые снаряды в должной исправности.

Пистолеты были осмотрены, лошади поданы – и через десять минут четверо товарищей были уже за городом. С каждым шагом ближе к месту поединка звук копыт конских о землю звонче и звонче отдавался в ушах Мельского. Однако ж он был бодр: естественная или умышленная веселость Свидова и других офицеров, с ним ехавших, придавала ему духу. Приближаясь к назначенному месту, они заметили пыль по дороге и скоро увидели, что следом за ними неслись на всех рысях несколько человек. Это был противник Мельского и его ассистенты.

– Мы их опередили, и кстати, – молвил Свидов, – покамест отдохнем и сгладим последние морщины с лица у Мельского.

Но Мельский был уже не тот: решимость, понятие о чести и чувство оскорбления придали ему необыкновенную отвагу. На лице его сияло совершенное спокойствие; он очень свободно расхаживал и холодно, но вежливо поклонился прибывшим в эту минуту товарищам его противника.

Свидов и секундант артиллерийского офицера сошлись, передали несколько слов друг другу, выбрали и зарядили пистолеты, потом, разделя поровну между противниками свет и ветер, мигом отмеряли восемь шагов на барьер и по пяти в обе стороны, чтобы сходиться. Подавая пистолет Мельскому, Свидов взглянул на него пристально и подивился и порадовался спокойствию и хладнокровию, которые выражались в чертах его лица и во всех поступках.

– Славно! – сказал он вполголоса. – Для первой дуэльной попытки это слишком много. – С сими словами отступил он несколько шагов и стал рядом с секундантом противной стороны. Уже пистолеты подняты, пальцы на шнеллерах, уже противники ступили шаг... тяжкое ожиданье заняло дух у секундантов и свидетелей... Кому-то пасть? или обоим? Оба равно смелы, оба равно тверды... только в артиллерийском офицере заметна была какая-то нетерпеливость в движениях: может статься, это было следствие обыкновенного его характера, или он, считая себя более обиженным, хотел скорее отомстить за свою обиду.

– Стой! – вдруг раздался громкий и твердый голос, и, по невольному движению, оба противника опустили пистолеты. Прежде нежели могли прийти в себя и они и их секунданты, юродивый стоял уже между поединщиками.

– Что вы делаете? – продолжал он тем же голосом. – Вы оба неправы; только ты виноватее, – примолвил он, оборотясь к артиллерийскому офицеру. – Драться вам не за что!..

– Протолкайте этого сумасброда! – закричал артиллерийский офицер.

– Сам ты сумасброд, что накликаешь на свою голову кровь неповинную, – сказал юродивый между тем, как секунданты и свидетели обеих сторон схватили его и хотели оттащить. Василь одарен был необыкновенною силою; по крайней мере, в этом случае показал он чрезвычайные усилия; шесть человек едва могли с ним сладить; наконец, оттащив его в сторону от барьера и видя, что он снова мечется к поединщикам, служившие свидетелями офицеры взяли его держать, а секунданты стали снова на свои места.

С одинаковою неустрашимостью противники пошли опять друг против друга; уже они почти на барьере, уже метят, курок спускается... Выстрел!.. «Стой!..» «Ох!» – и юродивый упал от пули артиллерийского офицера. В то же мгновение другая пуля просвистала над ухом артиллериста.

Пистолеты обоих противников, как по команде, упали на землю. Все бросились к юродивому. Он был еще жив. Кровь била клубом из-под распахнувшейся его одежды. Полковой лекарь, приглашенный предусмотрительными товарищами Мельского и крившийся в ближнем леску, прибежал на выстрелы и, освидетельствовав рану, объявил, что она смертельна. Пуля по близости удара пролетела насквозь; часть внутренностей несчастного была повреждена.

Начали перевязывать рану. Ничто не служит таким надежным шагом к сближению двух противных сторон, как общее участие к одному предмету. Помогая лекарю в его попечениях, раздирая свои платки и спорясь, так сказать, в условиях облегчить страдания раненого бедняка, Мельский и противник его не сказали еще ни слова. Наконец сей последний, держа компресс на ране больного, тогда как лекарь отошел в сторону приготовить бинт, взглянул в лицо Мельского, который поддерживал голову страдальца, и с некоторым усилием сказал:

– Поединок наш еще не кончен!

– Скажите, бога ради, за что вы меня вызвали? – вскричал Мельский как бы по невольному движению.

– Вы сами должны это знать: не вы ли меня оскорбляли? Не вы ли смеялись на мой счет с тою, чьей руки я искал и еще не позабыл огорчительного ее отказа?!

– Клянусь честью, что в разговоре моем с Софьею не было о вас ни слова. Я не дал бы этой клятвы, когда шел против вашей пули; теперь, над трупом сего бедняка, пострадавшего в нашем деле, я должен вывести вас из заблуждения.

– Почему ж она, говоря с вами, оглядывалась на меня и язвительно усмехалась?

– Это самого меня удивляло, и я хотел когда-нибудь выведать от нее тому причину. Но, повторяю снова свою клятву, предметом шуток наших и смеха были другие, а не вы.

Артиллерист помолчал несколько минут; он призадумался и, казалось, что-то припомнил; потом сказал тихим и горестным голосом и как бы сам себе:

– И в этот раз запальчивость моя и подозрительный нрав довели меня до исступления ума, даже до убийства. Боже мой!.. Но я уже наказан – должен понести без ропота и то наказание, какое законы назначат убийце.

Мельский, по чувству соучастия, протянул к нему руку и хотел утешать его. Артиллерист схватил его руку, сжал ее и сказал:

– Простите ли вы мне опрометчивость мою, забудете ли нанесенную вам обиду?

Молодой, мягкосердечный Мельский снова и крепко сжал ему руку. Он был удовлетворен вполне: товарищам своим и, следовательно, всему полку доказал он, что не боится порохового дыма; понятию о чести принес он жертву, соперник его просил у него прощения; чего ж мог он более требовать?

Привстав на колени и не отнимая руки от компресса, артиллерийский офицер протянул голову к Мельскому. Они поцеловались.

– Давно бы так! – сказал юродивый, который только что опамятовался. В это время подошел лекарь и dokonчил перевязку: раненый не испустил ни одного вздоха и не впал снова в беспмятство.

Офицеры подошли к примирившимся соперникам, поздравляли их с мирною; и Свидов первый как большой и опытный знаток в дуэльных делах сказал, что оба противника шли отлично и что сам он дерется со всяким, кто хоть заикнется против сего поединка.

В это время Мельский взглянул на лицо юродивого: он звал его глазами. Мельский наклонился к нему.

– Я знал, чем кончится, – говорил Василь слабым, но внятным голосом, – Бог положил это мне на сердце. Я знал, что поведу тебя на могилу твоей тетки: ты с приезда сюда не был еще у нее на могиле. Добрая, добрая была у тебя тетка: любила нищую братию и много ее наделяла. Василь был от нее и сыт, и одет, и пригрет!.. Десять лет, как она отошла к Отцу Небесному... Оттого и тебя полюбил я с первого взгляда, хотел узнать тебя поближе, да тебе было не до меня: суета сует закружила тебя. Я хотел отблагодарить за хлеб-соль твоей тетке; сказал, что помешаю тебе лежать, – и помешал.

Юродивый умолк. Мельский, роняя слезы на лицо его – дань благодарности и человечеству, которой он не стыдился, – вспомнил притом, что если б юродивый не подоспел, то пуля действительно попала бы прямо в него и, может быть, также навывлет; ибо выбранные секун-

дантами пистолеты были велики и сильно заряжены, по человеколюбивому расчету Свидова, чтоб не долго мучиться раненому.

Офицеры разошлись в разные стороны и за хорошую плату собрали несколько крестьян, работавших вблизи того места. Им велели из соседнего леса вырубить хворосту и сделать плетеные носилки, чтобы перенести в город раненого. Как скоро добрые малороссияне узнали, что раненый был Василь, то не хотели даже взять платы за перенесение его: они считали, что благословение Божие будет на них и на их дома за услугу, которую окажут они юродивому. Дивились они только и шепотом между собою рассуждали, каким образом и кем он застрелен; но Василь, вслушавшись в их слова, сказал:

– Я сам, братцы, напекался на смерть: так Богу было угодно! Здесь никого не вините.

Слушая его слова и веря им, ибо знали, что Василь никогда не говорил неправды, крестьяне прекратили свои толки. На носилки настлали мягкой травы и сверх нее положили несколько свит², чтоб раненому было еще мягче. Свидов сверх всего этого разостлал свою офицерскую шинель. Офицеры, как бы в погребальном шествии, тихим шагом ехали за носилками.

В предместье города офицеры велели остановить носилки и постучались в двери одного маленького, но опрятного домика. Там жила добрая старушка, вдова. Узнав, что дело идет о том, чтобы дать приют Василию, она тотчас отперла дверь, очистила небольшую светлицу и приготовила мягкую постель для больного. Лекарь охотно вызвался навещать его, хотя и не предвидел никакой надежды его излечить.

Мельский ходил каждый день навещать его о здоровье и с каждым днем видел постепенное угасание последних искр жизни сего непонятого человека. Василь говорил мало и говорил ему о тетке его, о ее добродетелях и благотворительности, присовокупляя иногда короткие, но сильные наставления для будущей его жизни. Во всех словах его не было уже признаков прежнего юродства, ни предсказаний. Так прошло три дня. На четвертый Мельский, нашедши хозяйку дома в первой комнате, спросил у нее о больном.

– Ему сегодня лучше, – отвечала старушка, – он спокойнее провел ночь и утром говорил громче и больше, нежели в прежние дни. Вспоминал о вас. Теперь, кажется, заснул; я выходила на час из дому, а после не слыхала никакого шума в его комнате, почему и думаю, что он спит.

Мельский отворил немного дверь в светлицу: ни на постеле, ни в комнате никого не было. Старуха вскрикнула, бросилась искать по всему дому, бегала в маленький свой садик, спрашивала у соседей, нигде не было Василя, никто не видал его! Наконец Мельский сам пошел искать и расспрашивать. Одна маленькая девочка сказала ему, что видела, как Василь через силу брел по улице к кладбищу. Мельский тотчас пошел туда. До кладбища было очень недалеко от дома старушки, легко могло случиться, что Василь, в новом припадке юродства, вздумал посетить заживо последнее свое жилище. При входе в кладбище Мельский увидел у одного памятника человека, который сидел на подножии, прилегши головою на низкий цоколь надгробного камня.

Мельский подошел к нему: это был точно Василь; но закостенелые члены и посинелое лицо его показывали, что жизнь уже отлетела из полуразрушенной своей оболочки. Долго стоял Мельский в задумчивости над холодным трупом человека, принесшего ему в жертву жизнь свою: потом, рассматривая надгробие, прочел он, что памятник сей скрывал под собою прах его тетки. Юродивый в последние дни свои принес двойную дань благодарности.

– Ты сдержал свое слово! – говорил Мельский. – Ты привел меня на могилу тетки и сам пришел посвятить последний вздох свой благодарному о ней воспоминанию. Покойся же с миром!

² Свита – название устаревшей мужской и женской верхней длинной распашной одежды из домотканого сукна, разновидность кафтана.

Грустно возвращался Мельский с кладбища. Обще с артиллерийским офицером, неумышленною причиною смерти юродивого, устроил он приличное погребение сему земному страдальцу и сам шел за гробом его, товарищи Мельского и все участвовавшие в поединке также отдали последний долг умершему сочеловеку. Стечение народа, собравшегося даже из окружающих сел на погребение Василя, показывало, в каком уважении был юродивый у сих простых, но добрых людей. Особливо нищие с плачем провожали его в могилу: будучи сам нищ, он находил способ помогать им и делился с ними подаянием, которое получал. Одна дряхлая, как остов иссохшая старуха плакала и выла больше всех; когда кончено было погребение, когда разошлись все, и старый и малый, она одна осталась на могиле и кропила свежую землю своими слезами. И после часто видали ее на могиле юродивого; мать ли то была, родственница или только предмет особых попечений покойного: никто не решился у нее спрашивать, и она никому о том не говорила.

1826 г.

Николай Семенович Лесков (1831–1895)

Очарованный странник

1

Мы плыли по Ладожскому озеру от острова Коневца к Валааму³ и на пути зашли по корабельной надобности в пристань к Кореле. Здесь многие из нас полюбопытствовали сойти на берег и съездили на бодрых чухонских⁴ лошадках в пустынный городок. Затем капитан изготовился продолжать путь, и мы снова отплыли.

После посещения Корелы весьма естественно, что речь зашла об этом бедном, хотя и чрезвычайно старом русском поселке, грустнее которого трудно что-нибудь выдумать. На судне все разделяли это мнение, и один из пассажиров, человек, склонный к философским обобщениям и политической шутливости, заметил, что он никак не может понять: для чего это неудобных в Петербурге людей принято отправлять куда-нибудь в более или менее отдаленные места, отчего, конечно, происходит убыток казне на их провоз, тогда как тут же, вблизи столицы, есть на Ладожском берегу такое превосходное место, как Корела, где любое вольномыслие и свободомыслие не могут устоять перед апатиею населения и ужасною скукою гнетущей, скупой природы.

– Я уверен, – сказал этот путник, – что в настоящем случае непременно виновата рутина или в крайнем случае, может быть, недостаток подлежащих сведений.

Кто-то часто здесь путешествующий ответил на это, что будто и здесь разновременно живали какие-то изгнанники, но только все они недолго будто выдерживали.

– Один молодец из семинаристов сюда за грубость в дьячки был прислан (этого рода ссылки я уже и понять не мог). Так, приехавши сюда, он долго храбрился и все надеялся какое-то судбище поднять; а потом как запил, так до тогопил, что совсем с ума сошел и послал такую просьбу, чтобы его лучше как можно скорее велели «расстрелять или в солдаты отдать, а за неспособностью повесить».

– Какая же на это последовала резолюция?

– М... н... не знаю, право; только он все равно этой резолюции не дождался: самовольно повесился.

– И прекрасно сделал, – откликнулся философ.

– Прекрасно? – переспросил рассказчик, очевидно купец, и притом человек солидный и религиозный.

– А что же? По крайней мере, умер, и концы в воду.

– Как же концы в воду-с? А на том свете что ему будет? Самоубийцы, ведь они целый век будут мучиться. За них даже и молиться никто не может.

Философ ядовито улыбнулся, но ничего не ответил, но зато и против него и против купца выступил новый оппонент, неожиданно вступившийся за дьячка, совершившего над собою смертную казнь без разрешения начальства.

³ Валаам – остров на Ладожском озере, где, согласно преданию, еще в X веке был основан мужской монастырь.

⁴ Чухонский – финский.

Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не заметно присел с Коневца. Он до сих пор молчал, и на него никто не обращал никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был человек огромного роста, со смуглым открытым лицом и густыми волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке. Послушник он был или постриженный монах – этого отгадать было невозможно, потому что монахи ладожских островов не только в путешествиях, но и на самых островах не всегда надевают камилавки, а в сельской простоте ограничиваются колпачками. Этому новому нашему сопутнику, оказавшемуся впоследствии чрезвычайно интересным человеком, по виду можно было дать с небольшим лет за пятьдесят; но он был в полном смысле слова богатырь, и притом типический, простодушный, добрый русский богатырь, напоминающий дедушку Илью Муромца в прекрасной картине Верещагина и в поэме графа А.К. Толстого. Казалось, что ему бы не в раске ходить, а сидеть бы ему на «чубаром» да ездить в лаптицах по лесу и лениво нюхать, как «смолой и земляникой пахнет темный бор».

Но, при всем этом добром простодушии, не много надо было наблюдательности, чтобы видеть в нем человека много видевшего и, что называется, «бывалого». Он держался смело, самоуверенно, хотя и без неприятной развязности, и заговорил приятным басом с повадкой.

– Это все ничего не значит, – начал он, лениво и мягко выпуская слово за словом из-под густых, вверх, по-гусарски, закрученных седых усов. – Я, что вы насчет того света для самоубийцев говорите, что они будто никогда не простятся, не приемлю. И что за них будто некому молиться – это тоже пустяки, потому что есть такой человек, который все их положение самым легким манером очень просто может поправить.

Его спросили: кто же это такой человек, который ведает и исправляет дела самоубийц после их смерти?

– А вот кто-с, – отвечал богатырь-черноризец, – есть в Московской епархии в одном селе попик – прегорчающий пьяница, которого чуть было не расстригли, – так он ими орудует.

– Как же вам это известно?

– А помируйте-с, это не я один знаю, а все в московском округе про то знают, потому что это дело шло через самого высокопреосвященного митрополита Филарета⁵.

Вышла маленькая пауза, и кто-то сказал, что все это довольно сомнительно.

Черноризец нимало не обиделся этим замечанием и отвечал:

– Да-с, оно по первому взгляду так-с, сомнительно-с. И что тут удивительного, что оно нам сомнительным кажется, когда даже сами его высокопреосвященство долго этому не верили, а потом, получив верные тому доказательства, увидали, что нельзя этому не верить, и поверили?

Пассажиры пристали к иноку с просьбою рассказать эту дивную историю, и он от этого не отказался и начал следующее:

– Повествуют так, что пишет будто бы раз один благочинный высокопреосвященному владыке, что будто бы, говорит, так и так, этот попик ужасная пьяница, – пьет вино и в приходе не годится. И оно, это донесение, по одной сущности было справедливо. Владыка и велели прислать к ним этого попика в Москву. Посмотрели на него и видят, что действительно этот попик запивашка, и решили, что быть ему без места. Попик огорчился и даже перестал пить, и все убивается и оплакивает: «До чего, – думает, – я себя довел и что мне теперь больше делать, как не руки на себя наложить? Это одно, – говорит, – мне только и осталось: тогда, по крайней мере, владыка сжалятся над моею несчастною семьею и дочери жениха дадут, чтобы он на мое место заступил и семью мою питал». Вот и хорошо: так он порешил настоятельно

⁵ Филарет (1782–1867) – в то время – митрополит Московский.

себя кончить и день к тому определил, но только как был он человек доброй души, то подумал: «Хорошо же; умереть-то я, положим, умру, а ведь я не скотина: я не без души, – куда потом моя душа пойдет?» И стал он от этого часу еще больше скорбеть. Ну, хорошо: скорбит он и скорбит, а владыка решили, что быть ему за его пьянство без места, и легли однажды после трапезы на диванчик с книжкой отдохнуть и заснули. Ну, хорошо: заснули они или этак только вздремали, как вдруг видят, будто к ним в келию двери отворяются. Они и окликнули: «Кто там?» – потому что думали, будто служка им про кого-нибудь доложить пришел; ан, вместо служки, смотрят – входит старец, добрый-предобрый, и владыка его сейчас узнали, что это преподобный Сергей⁶.

Владыка и говорят: «Ты ли это, пресвятой отче Сергие?»

А угодник отвечает: «Я, раб Божий Филарет».

Владыка спрашивают: «Что же твоей чистоте угодно от моего недостойнства?»

А святой Сергей отвечает: «Милости хочу».

«Кому же повелишь явить ее?»

А угодник и наименовал того попика, что за пьянство места лишен, и сам удалился; а владыка проснулись и думают: «К чему это причесть: простой это сон, или мечтание, или духоводительное видение?» И стали они размышлять, и, как муж ума во всем свете именитого, находят, что это простой сон, потому что статочное ли дело, что святой Сергей, постник и доброго, строгого жития блюститель, ходатайствовал об иерее слабом, творящем житие с небрежением. Ну-с, хорошо: рассудили так его высокопреосвященство и оставили все это дело естественному оному течению, как было начато, а сами провели время, как им надлежало, и отошли опять в должный час ко сну. Но только что они снова опочили, как снова видение, и такое, что великий дух владыки еще в большее смятение повергло. Можете вообразить: грохот... такой страшный грохот, что ничем его невозможно выразить... Скачут... числа им нет, сколько рыцарей... несутся, все в зеленом убранстве, латы и перья, и кони что львы, вороные, а впереди их горделивый стратопедарх⁷ в таком же уборе, и куда помахнет темным знаменем, туда все и скачут, а на знамени змей. Владыка не знают, к чему этот поезд, а оный горделивец командует: «Терзайте, – говорит, – их: теперь нет их молитвенника», – и проскакал мимо; а за сим стратопедархом – его воины, а за ними, как стая весенних гусей тощих, потянулись скучные тени, и все кивают владыке грустно и жалостно, и все сквозь плач тихо стонут: «Отпусти его! – он один за нас молится». Владыка как изволили встать, сейчас посылают за пьяным попиком и спрашивают: как и за кого он молится? А поп по бедности духовной весь перед святителем растерялся и говорит: «Я, владыко, как положено совершаю». И насилу его высокопреосвященство добились, что он повинился. «Виноват, – говорит, – в одном, что сам, слабость душевную имея и от отчаяния думая, что лучше жизни себя лишиться, я всегда на святой проскомидии за безпокаяния скончавшихся и руки на ся наложивших молюсь...» Ну, тут владыка и поняли, что это за тени пред ним в видении, как тощие гуси, плыли, и не восхотели радовать тех демонов, что впереди их спешили с губительством, и благословили попика. «Ступай, – изволили сказать, – и к тому не согрешай, а за кого молился – молись», – и опять его на место отправили. Так вот он, этакый человек, всегда таковым людям, что жизни борения не переносят, может быть полезен, ибо он уже от дерзости своего призвания не отступит и все будет за них Создателю докучать, и Тот должен будет их простить.

– Почему же «должен»?

– А потому, что «толпытеса»; ведь это от него же самого повелено, так ведь уже это не переменится же-с.

⁶ Преподобный Сергей – Сергей Радонежский (1314–1392), один из наиболее заметных деятелей в Русской православной церкви, основатель Троице-Сергиева монастыря и ряда других обителей.

⁷ Стратопедарх – начальник военного лагеря.

– А скажите, пожалуйста, кроме этого московского священника, за самоубийц разве никто не молится?

– А не знаю, право, как вам на это что доложить. Не следует, говорят, будто бы за них Бога просить, потому что они самоуправцы, а, впрочем, может быть, иные, сего не понимая, и о них молятся. На Троицу, не то на Духов день⁸, однако, кажется, даже всем позволено за них молиться. Тогда и молитвы такие особенные читаются. Чудесные молитвы, чувствительные; кажется, всегда бы их слушал.

– А их нельзя разве читать в другие дни?

– Не знаю-с. Об этом надо спросить у кого-нибудь из начитанных: те, думается, должны бы знать; да как мне это ни к чему, так и не доводилось об этом говорить.

– А в служении вы не замечали, чтобы эти молитвы когда-нибудь повторялись?

– Нет-с, не замечал; да и вы, впрочем, на мои слова в этом не полагайтесь, потому что я ведь у службы редко бываю.

– Отчего же это?

– Занятия мои мне не позволяют.

– Вы иеромонах или иеродиакон?

– Нет, я еще просто в рясофоре.

– Все же ведь уже это значит, вы инок?

– Н... да-с; вообще это так почитают.

– Почитать-то почитают, – отозвался на это купец, – но только из рясофора-то еще можно и в солдаты лоб забрить.

Богатырь-черноризец нимало этим замечанием не обиделся, а только пораздумал немножко и отвечал:

– Да, можно, и, говорят, бывали такие случаи; но только я уже стар: пятьдесят третий год живу, да и мне военная служба не в диковину.

– Разве вы служили в военной службе?

– Служил-с.

– Что же, ты из ундеров, что ли? – снова спросил его купец.

– Нет, не из ундеров.

– Так кто же: солдат, или вахтер, или помазок – чей возок?

– Нет, не угадали; но только я настоящий военный, при полковых делах был почти с самого детства.

– Значит, кантонист?⁹ – сердясь, добивался купец.

– Опять же нет.

– Так прах же тебя разберет, кто же ты такой?

– Я конэсер.

– Что-о-о тако-о-е?

– Я конэсер-с, конэсер, или, как простонароднее выразить, я в лошадях знаток и при ремонтерах состоял для их руководства.

– Вот как!

– Да-с, не одну тысячу коней отобрал и отъездил. Таких зверей отучал, каковые, например, бывают, что встает на дыбы да со всего духу навзничь бросается и сейчас седоку седельною лукою может грудь проломить, а со мной этого ни одна не могла.

– Как же вы таких усмиряли?

– Я... я очень просто, потому что я к этому от природы своей особенное дарование получил. Я как вскочу, сейчас, бывало, не дам лошади опомниться, левою рукою ее со всей силы за

⁸ Духов день – праздник Сошествия Святого Духа; воскресный день – Троица, понедельник – Духов день.

⁹ Кантонисты – потомственные солдаты, дети военных, обязанные по своему происхождению служить в армии.

ухо да в сторону, а правую кулаком между ушей по башке, да зубами страшно на нее заскриплю, так у нее у иной даже инда мозг изо лба в ноздрях вместе с кровью покажется, – она и усмиреет.

– Ну а потом?

– Потом сойдешь, огладишь, дашь ей в глаза себе налюбоваться, чтобы в памяти у нее хорошее воображение осталось, да потом сядешь опять и поедешь.

– И лошадь после этого смиренно идет?

– Смирно пойдет, потому лошадь умна, она чувствует, какой человек с ней обращается и каких он насчет ее мыслей. Меня, например, лошадь в этом рассуждении всякая любила и чувствовала. В Москве, в манеже, один конь был, совсем у всех наездников от рук отбился и изучил, профан, такую манеру, чтобы за колени седока есть. Просто, как черт, схватит зубищами, так всю коленную чашку и вышелушит. От него много людей погибло. Тогда в Москву англичанин Рарей¹⁰ приезжал, – «бешеный усмиритель» он назывался, – так она, эта подлая лошадь, даже и его чуть не съела, а в позор она его все-таки привела; но он тем от нее только и уцелел, что, говорят, стальной наколенник имел, так что она его хотя и ела за ногу, но не могла прокусить и сбросила; а то бы ему смерть; а я ее направил как должно.

– Расскажите, пожалуйста, как же вы это сделали?

– С Божиею помощью-с, потому что, повторяю вам, я к этому дар имею. Мистер Рарей этот, что называется «бешеный укротитель», и прочие, которые за этого коня брались, все искусство противу его злобности в поводах держали, чтобы не допустить ему ни на ту, ни на другую сторону башкой мотнуть: а я совсем противное тому средство изобрел; я, как только англичанин Рарей от этой лошади отказался, говорю: «Ничего, – говорю, – это самое пустое, потому что этот конь ничего больше, как бесом одержим. Англичанин этого не может постичь, а я постигну и помогу». Начальство согласилось. Тогда я говорю: «Выведите его за Дрогомиловскую заставу!» Вывели. Хорошо-с; свели мы его в поводьях в лошину к Филям, где летом господа на дачах живут. Я вижу: тут место просторное и удобное, и давай действовать. Сел на него, на этого людоеда, без рубахи, босой, в одних шароварах да в картузе, а по голому телу имел тесменный пояс от святого храброго князя Всеволода-Гавриила¹¹ из Новгорода, которого я за молодечество его сильно уважал и в него верил; а на том пояске его надпись заткана: «Чести моей никому не отдам». В руках же у меня не было никакого особого инструмента, как опричь в одной – крепкая татарская нагайка со свинцовым головком, в конце так не более яко в два фунта, а в другой – простой муравный¹² горшок с жидким тестом. Ну-с, уселся я, а четверо человек тому коню морду поводьями в разные стороны тащат, чтобы он на которого-нибудь из них зубом не кинулся. А он, бес, видя, что на него ополчаемся, и ржет, и визжит, и потеет, и весь от злости труситя, сожрать меня хочет. Я это вижу и велю конюхам: «Тащите, – говорю, – скорее с него, мерзавца, узду долой». Те ушам не верят, что я им такое даю приказание, и глаза выпучили. Я говорю: «Что же вы стоите! или не слышите? Что я вам приказываю – вы то сейчас исполнять должны!» А они отвечают: «Что ты, Иван Северьяныч (меня в миру Иван Северьяныч, господин Флягин, звали): как, – говорят, – это можно, что ты велишь узду снять?» Я на них сердиться начал, потому что наблюдаю и чувствую в ногах, как конь от ярости бесится, и его хорошенько подавил в коленях, а им кричу: «Снимай!» Они было еще слово; но тут уже и я совсем рассвирепел да как заскриплю зубами – они сейчас в одно мгновение узду сдернули, да сами, кто куда видит, бросились бежать, а я ему в ту же минуту сейчас первое, чего он не ожидал, трах горшок об лоб: горшок разбил, а тесто ему и потекло и в глаза, и в ноздри. Он испужался, думает: «Что это такое?» А я скорее схватил с

¹⁰ Рарей Джон (1827–1866) – американский дрессировщик лошадей.

¹¹ Всеволод (в крещении Гавриил) Мстиславич – новгородский князь. Почитается Русской православной церковью как святой благоверный князь Всеволод Псковский. Умер в 1137 году.

¹² Муравный – покрытый глазурью.

головы картуз в левую руку и прямо им коню еще больше на глаза теста натираю, а нагайкой его по боку щелк... Он ёк да вперед, а я его картузом по глазам тру, чтобы ему совсем зрение в глазах замутило, а нагайкой еще по другому боку... Да и пошел, да и пошел его парить. Не даю ему ни продохнуть, ни проглянуть, все ему своим картузом по морде тесто размазываю, слеплю, зубным скрежетом в трепет привожу, пугаю, а по бокам с обеих сторон нагайкой деру, чтобы понимал, что это не шутка... Он это понял и не стал на одном месте упорствовать, а ударился меня носить. Носил он меня, сердечный, носил, а я его порол да порол, так что чем он усерднее носится, тем и я для него еще ревностнее плетью стараюсь, и, наконец, оба мы от этой работы стали уставать: у меня плечо ломит и рука не поднимается, да и он, смотрю, уже перестал коситься и язык изо рта вон посунул. Ну, тут я вижу, что он пардону просит, поскорее с него сошел, протер ему глаза, взял за вихор и говорю: «Стой, собачье мясо, песья снесь!» – да как дерну его книзу – он на колени передо мною и пал, и с той поры такой скромник сделался, что лучше требовать не надо: и садиться давался, и ездил, но только скоро издох.

– Издох, однако?

– Издох-с; гордая очень тварь был, поведением смирился, но характера своего, видно, не мог преодолеть. А господин Рарей меня тогда, об этом прослышав, к себе в службу приглашал.

– Что же, вы служили у него?

– Нет-с.

– Отчего же?

– Да как вам сказать! Первое дело, что я ведь был конэсер и больше к этой части привык – для выбора, а не для отъездки, а ему нужно было только для одного бешеного усмирительства, а второе, что это с его стороны, как я полагаю, была одна коварная хитрость.

– Какая же?

– Хотел у меня секрет взять.

– А вы бы ему продали?

– Да, я бы продал.

– Так за чем же дело стало?

– Так... он сам меня, должно быть, испугался.

– Расскажите, сделайте милость, что это еще за история?

– Никакой-с особенной истории не было, а только он говорит: «Открой мне, братец, твой секрет – я тебе большие деньги дам и к себе в конэсеры возьму». Но как я никогда не мог никого обманывать, то и отвечаю: «Какой же секрет? – это глупость». А он все с аглицкой, ученой точки берет и не поверил; говорит: «Ну, если ты не хочешь так, в своем виде, открыть, то давай с тобою вместе ром пить». После этого мы пили вдвоем с ним очень много рому, до того, что он раскраснелся и говорит, как умел: «Ну, теперь, мол, открывай, что ты с конем делал?» А я отвечаю: «Вот что...» – да глянул на него как можно пострашнее и зубами заскрипел, а как горшка с тестом на ту пору при себе не имел, то взял да для примера стаканом на него размахнул, а он вдруг, это видя, как нырнет – и спустился под стол, да потом как шаркнет к двери, да и был таков, и негде его стало и искать. Так с тех пор мы с ним уже и не видались.

– Поэтому вы к нему и не поступили?

– Поэтому-с. Да и как же поступить, когда он с тех пор даже встретить меня опасался? А я бы очень к нему тогда хотел, потому что он мне, пока мы с ним на роме на этом состязались, очень понравился, но, верно, своего пути не обежишь, и надо было другому призванию следовать.

– А вы что же почитаете своим призванием?

– А не знаю, право, как вам сказать... Я ведь много что происходил, мне довелось быть-с и на конях, и под конями, и в плену был, и воевал, и сам людей бил, и меня увечили, так что, может быть, не всякий бы вынес.

– А когда же вы в монастырь пошли?

- Это недавно-с, всего несколько лет после всей прошедшей моей жизни.
- И тоже призвание к этому почувствовали?
- М... н... н... не знаю, как это объяснить... впрочем, надо полагать, что имел-с.
- Почему же вы это так... как будто не намерное говорите?
- Да потому, что как же намерное сказать, когда я всей моей обширной протекшей жизненности даже обнять не могу?
- Это отчего?
- Оттого-с, что я многое даже не своею волею делал.
- А чьею же?
- По родительскому обещанию.
- И что же такое с вами происходило по родительскому обещанию?
- Всю жизнь свою я погибал и никак не мог погибнуть.
- Будто так?
- Именно так-с.
- Расскажите же нам, пожалуйста, вашу жизнь.
- Отчего же, что вспомню, то, извольте, могу рассказать, но только я иначе не могу-с, как с самого первоначала.
- Сделайте одолжение. Это тем интереснее будет.
- Ну уж не знаю-с, будет ли это сколько-нибудь интересно, а извольте слушать.

2

Бывший конэсер Иван Северьяныч, господин Флягин, начал свою повесть так:

– Я родился в крепостном звании и происхожу из дворовых людей графа К.¹³ из Орловской губернии. Теперь эти имения при молодых господах расплылись, но при старом графе были очень значительные. В селе Г., где сам граф изволил жить, был огромный, великий домина, флигеля для приезда, театр, особая кегельная галерея, псарня, живые медведи на столбу сидели, сады, свои певчие концерты пели, свои актеры всякие сцены представляли; были свои ткацкие, и всякие свои мастерства содержались; но более всего обращалось внимания на конный завод. Ко всякому делу были приставлены особые люди, но конюшенная часть была еще в особом внимании, и все равно как в военной службе от солдата в прежние времена кантонист происходил, чтобы сражаться, так и у нас от кучера шел кучеренок, чтобы ездить, от конюха – конюшонок, чтобы за лошадьми ходить, а от кормового мужика – кормовик, чтобы с гумна на ворки¹⁴ корм возить. Мой родитель был кучер Северьян, и хотя приходился он не из самых первых кучеров, потому что у нас их было большое множество, но, однако, он шестериком правил и в царский проезд один раз в седьмом номере был и старинною синею ассигнациею¹⁵ жалован. От родительницы своей я в самом юном сиротстве остался и ее не помню, потому как я был у нее молитвенный сын, значит, она, долго детей не имея, меня себе у Бога все выпрашивала, и как выпросила, так сейчас же, меня породивши, и умерла, оттого что я произошел на свет с необыкновенною большою головою, так что меня поэтому и звали не Иван Флягин, а просто Голован. Живучи при отце на кучерском дворе, всю жизнь свою я проводил на конюшне, и тут я постиг тайну познания в животном и, можно сказать, возлюбил коня, потому что маленьким еще на четвереньках я у лошадей промеж ног полозил, и они меня не увечили, а подрос, так и совсем с ними спознался. Завод у нас был отдельно, конюшни – отдельно, и мы, конюшенные люди, до завода не касались, а получали оттуда готовых воспи-

¹³ Граф К. – имеется в виду С.М. Каменский (1771–1835), известный своим деспотизмом помещик.

¹⁴ Ворок (ворки) – загон, скотный двор.

¹⁵ Денежная купюра пятирублевого достоинства.

томков и обучали их. У нас у всякого кучера с фореитором были шестерики, и все разных сортов: вятки, казанки, калмыки, битюцкие, донские – все это были из приводных коней, которые по ярмаркам покупались, а то, разумеется, больше было своих, заводских, но про этих говорить не стоит, потому что заводские кони смиренные и ни сильного характера, ни фантазии веселой не имеют, а вот эти дикари, это ужасные были звери. Покупает их, бывало, граф прямо целыми косяками, как есть весь табун, дешево, рублей по восьми, по десяти за голову, ну и как скоро мы их домой пригоним, сейчас начинаем их школить. Ужасно противляются. Половина даже, бывало, подохнет, а воспитанию не поддаются: стоят на дворе – все дивятся и даже от стен шарахаются, а все только на небо, как птицы, глазами косят. Даже инда жалость, глядя на инога, возьмет, потому что видишь, что вот так бы он, кажется, сердечный, и улетел, да крылышек у него нет... И овса или воды из корыта ни за что попервоначалу ни пить, ни есть не станет, и так все сохнет, сохнет, пока изведется совсем и околеет. Иногда этой траты бывает более как на половину того, что купим, а особенно из киргизских. Ужасно они степную волю любят. Ну зато, которые оборкаются и останутся жить, из тех тоже немалое число, учивши, покалечить придется, потому что на их дикость одно средство – строгость, но зато уже которые все это воспитание и науку вынесут, так из этих такая отборность выходит, что никогда с ними никакой заводской лошади не сравнится по ездовой добродетели.

Родитель мой, Северьян Иванович, правил киргизским шестериком, а когда я подрост, так меня к нему в этот же шестерик фореитором посадили. Лошади были жестокие, не то что нынешние какие-нибудь кавалерийские, что для офицеров берут. Мы этих офицерских кофисенками звали, потому что на них нет никакого удовольствия ехать, так как на них офицеры даже могут сидеть, а те были просто зверь, аспид и василиск, все вместе: морды эти одни чего стоили, или оскал, либо ножищи, или гривье... ну то есть, просто сказать, ужась! Устали они никогда не знали; не только что восемьдесят, а даже сто и сто пятнадцать верст из деревни до Орла или назад домой таким же манером, это им, бывало, без отдыха нипочем сделать. Как разнесутся, так только гляди, чтобы мимо не пролетели. А мне в ту пору, как я на фореиторскую подседельную сел, было еще всего одиннадцать лет, и голос у меня был настоящий такой, как по тогдашнему приличию для дворянских фореиторов требовалось: самый пронзительный, звонкий и до того продолжительный, что я мог это «дд-ди-ди-и-и-ттты-о-о» завести и полчаса этак звенеть; но в теле своим силами я еще не могуч был, так что дальние пути не мог свободно верхом переносить, и меня еще приседывали к лошади, то есть к седлу и к подпругам ко всему ремнями умотают и сделают так, что упасть нельзя. Расколотит насмерть, и даже не один раз сомлеешь и чувства потеряешь, а все в своей позиции верхом едешь, и опять, наскучив мотаться, в себя придешь. Должность нелегкая; за дорогу, бывало, несколько раз такие перемены происходят, то слабеешь, то исправишься, а дома от седла совсем уже как неживого отрешат, положат и станут давать хрен нюхать; ну, а потом привык, и все это нипочем сделалось; еще, бывало, едешь да все норовишь какого-нибудь встречного мужика кнутом по рубaxe вытянуть. Это фореиторское озорство уже известно. Вот этак мы раз и едем с графом в гости. Погода летняя, прекрасная, и граф сидят с собакою в открытой коляске, батюшка четверней правит, а я впереди задуваю, а дорога тут с большака свертывает, и идет особый поворот верст на пятнадцать к монастырю, который называется П... пустынь¹⁶. Дорожку эту монахи справили, чтобы заманчивее к ним ездить было: преестественно, там на казенной дороге нечисть и ракиты, одни корявые прутья торчат; а у монахов к пустыни дорожка в чистоте, разметена вся, и подчищена, и по краям сажеными березами обросла, и от тех берез такая зелень и дух, а вдаль полевой вид обширный... Словом сказать – столь хорошо, что вот так бы при всем этом и вскрикнул, а кричать, разумеется, без пути нельзя, так и держусь, скачу; но только вдруг на третьей или четвертой версте, не доезжая монастыря, стало этак клонить под взволочек, и

¹⁶ Предположительно Предтечева пустынь (монастырь) в Орловской губернии.

вдруг я завидел тут впереди себя малую точку... что-то ползет по дороге, как ежик. Я обрадовался этому случаю и изо всей силы затащил «дддди-и-и-ттты-о-о», и с версту все это звучал и до того разгорелся, что, как стали мы нагонять парный воз, на кого я кричал-то, я и стал в стременах подниматься и вижу, что человек лежит на сене на возу, и как его, верно, приятно на свежем поветрии солнышком пригрело, то он, ничего не опасаясь, крепко-прекрепко спит, так сладко вверх спиной раскинулся и даже руки врозь разложил, точно воз обнимает. Я вижу, что уже он не свернет, взял в сторону, да, поравнявшись с ним, стоя на стременах, впервые тогда заскрипел зубами да как полосну его во всю мочь вдоль спины кнутом. Его лошади как подхватят с возом под гору, а он сразу как взметнется, старенький этакой, вот в таком, как я ноне, в послушничьем колпачке, и лицо какое-то такое жалкое, как у старой бабы, да весь перепуганный, и слезы текут, и ну виться на сене, словно пескарь на сковороде, да вдруг не разобрал, верно, спросонья, где край, да кувырк с воза под колесо и в пыли-то и пополз... в вожжи ногами замотался... Мне, и отцу моему, да и самому графу сначала это смешно показалось, как он кувыркнулся, а тут вижу я, что лошади внизу, у моста, зацепили колесом за надолбу и стали, а он не поднимается и не ворочается... Ближе подъехали, я гляжу, он весь серый, в пыли, и на лице даже носа не значится, а только трещина, и из нее кровь... Граф велели остановиться, сошли, посмотрели и говорят: «Убит». Погрозились мне дома за это выпороть и велели скорей в монастырь ехать. Оттуда людей послали на мост, а граф там с игуменом переговорили, и по осени от нас туда в дары целый обоз пошел с овсом, и с мукою, и с сушеными карасями, а меня отец кнутом в монастыре за сараем по штанам продрал, но настояще пороть не стали, потому что мне, по моей должности, сейчас опять верхом надо было садиться. Тем это дело и кончилось, но в эту же самую ночь приходит ко мне в видении этот монах, которого я засек, и опять, как баба, плачет. Я говорю: «Чего тебе от меня надо? пошел прочь!»

А он отвечает: «Ты, – говорит, – меня без покаяния жизни решил».

«Ну, мало чего нет, – отвечаю. – Что же мне теперь с тобой делать? Ведь я это не нарочно. Да и чем, – говорю, – тебе теперь худо? Умер ты, и все кончено».

«Кончено-то, – говорит, – это действительно так, и я тебе очень за это благодарен, а теперь я пришел от твоей родной матери сказать тебе, что знаешь ли ты, что ты у нее моленый сын?»

«Как же, – говорю, – слышал я про это, бабушка Федосья мне про это не раз сказывала».

«А знаешь ли, – говорит, – ты еще и то, что ты сын обещанный?»

«Как это так?»

«А так, – говорит, – что ты Богу обещан».

«Кто же меня ему обещал?»

«Мать твоя».

«Ну, так пускай же, – говорю, – она сама придет мне про это скажет, а то ты, может быть, это выдумал».

«Нет, я, – говорит, – не выдумывал, а ей прийти нельзя».

«Почему?»

«Так, – говорит, – потому, что у нас здесь не то, что у вас на земле: здешние не все говорят и не все ходят, а кто чем одарен, тот то и делает. А если ты хочешь, – говорит, – так я тебе дам знамение в удостоверение».

«Хочу, – отвечаю, – только какое же знамение?»

«А вот, – говорит, – тебе знамение, что будешь ты много раз погибать и ни разу не погибнешь, пока придет твоя настоящая погибель, и ты тогда вспомнишь материно обещание за тебя и пойдешь в чернецы».

«Чудесно, – отвечаю, – согласен и ожидаю».

Он и скрылся, а я проснулся и про все это позабыл и не чаю того, что все эти погибели сейчас по ряду и начнутся. Но только через некоторое время поехали мы с графом и с гра-

финею в Воронеж, – к новоявленным мощам¹⁷ маленькую графиньку косолапую на исцеление туда везли, – и остановились в Елецком уезде, в селе Крутом, лошадей кормить, я и опять под колодой уснул, и вижу – опять идет тот монашек, которого я решил, и говорит: «Слушай, Голованька, мне тебя жаль, просись скорей у господ в монастырь – они тебя пустят».

Я отвечаю: «Это с какой стати?»

А он говорит: «Ну, гляди, сколько ты иначе зла претерпишь».

Думаю, ладно; надо тебе что-нибудь каркать, когда я тебя убил, и с этим встал, запряг с отцом лошадей, и выезжаем, а гора здесь прекрутая-крутищая, и сбоку обрыв, в котором тогда невесть что народу погибало. Граф и говорит: «Смотри, Голован, осторожнее».

А я на это ловок был, и хоть вожжи от дышловых, которым надо спускать, в руках у кучера, но я много умел отцу помогать. У него дышловики были сильные и опористые: могли так спускать, что просто хвостом на землю садились, но один из них, подлец, с астрономией был – как только его сильно потянешь, он сейчас голову кверху дерет и прах его знает куда на небо созерцает. Эти астрономы в корню – нет их хуже, а особенно в дышле они самые опасные, за конем с такою повадкой фореитор завсегда смотри, потому что астроном сам не зрит, как тычет ногами, и невесть куда попадает. Все это я, разумеется, за своим астрономом знал и всегда помогал отцу: своих подседельную и подручную, бывало, на левом локте поводками держу и так их ставлю, что они хвостами дышловым в самую морду приходятся, а дышло у них промежду крупов, а у самого у меня кнут всегда наготове, у астронома перед глазами, и чуть вижу, что он уже очень в небо полез, я его по храпе, и он сейчас морду спустит, и отлично съедем. Так и на этот раз: спускаем экипаж, и я верчусь, знаете, перед дышлом и кнутом астронома остепеняю, как вдруг вижу, что уж он ни отцовых вожжей, ни моего кнута не чуёт, весь рот в крови от удилов и глаза выворотил, а сам я вдруг слышу, сзади что-то заскрипело, да хлоп, и весь экипаж сразу так и посунулся... Тормоз лопнул! Я кричу отцу: «Держи! держи!» И он сам орет: «Держи! держи!» А уж чего держать, когда весь шестерик как прокаженные несутся и сами ничего не видят, а перед глазами у меня вдруг что-то стрекнуло, и смотрю, отец с козел долой летит... вожжа оборвалась... А впереди та страшная пропасть... Не знаю, жалко ли мне господ или себя стало, но только я, видя неминуемую гибель, с подседельной бросился прямо на дышло и на конце повис... Не знаю опять, сколько тогда во мне весу было, но только на перевесе ведь это очень тяжело весит, и я дышловиков так сдушил, что они захрипели, и... гляжу, уже моих передовых нет, как отрезало их, а я вишу над самую пропастью, а экипаж стоит и уперся в коренных, которых я дышлом подавил.

Тут только я опомнился и пришел в страх, и руки у меня оторвались, и я полетел и ничего уже не помню. Очнулся я тоже не знаю через сколько времени и вижу, что я в какой-то избе и здоровый мужик говорит мне: «Ну что, неужели ты, малый, жив?»

Я отвечаю: «Должно быть, жив».

«А помнишь ли, – говорит, – что с тобою было?»

Я стал припоминать и вспомнил, как нас лошади понесли и я на конец дышла бросился и повис над ямищей; а что дальше было – не знаю.

А мужик и улыбается: «Да и где же, – говорит, – тебе это знать. Туда, в пропасть, и кони-то твои передовые заживо не долетели – расшиблись, а тебя это словно какая невидимая сила спасла: как на глиняну глыбу сорвался, упал, так на ней вниз как на салазках и скатился. Думали, мертвый совсем, а глядим – ты дышишь, только воздухом дух оморило. Ну а теперь, – говорит, – если можешь, вставай, поспешай скорее к угоднику: граф деньги оставил, чтобы тебя, если умрешь, схоронить, а если жив будешь, к нему в Воронеж привезть».

Я и поехал, но только всю дорогу ничего не говорил, а слушал, как этот мужик, который меня вез, все на гармонии «барыню» играл.

¹⁷ Речь идет о мощах первого воронежского епископа Митрофания, обретение которых произошло в 1832 году.

Как мы приехали в Воронеж, граф призвал меня в комнаты и говорит графинюшке: «Вот, – говорит, – мы, графинюшка, этому мальчишке спасением своей жизни обязаны».

Графиня только головою закачала, а граф говорит: «Проси у меня, Голован, что хочешь, – я все тебе сделаю».

Я говорю: «Я не знаю, чего просить!»

А он говорит: «Ну, чего тебе хочется?»

А я думал-думал да говорю: «Гармонию».

Граф засмеялся и говорит: «Ну, ты взаправду дурак, а впрочем, это само собою, я сам, когда придет время, про тебя вспомню, а гармонию, – говорит, – ему сейчас же купить».

Лакей сходил в лавки и приносит мне на конюшню гармонию.

«На, – говорит, – играй».

Я было ее взял и стал играть, но только вижу, что ничего не умею, и сейчас ее бросил, а потом ее у меня странницы на другой день из-под сарая и украли.

Мне надо было бы этим случаем графской милости пользоваться да тогда же, как монах советовал, в монастырь проситься; а я, сам не знаю зачем, себе гармонию выпросил, и тем первое самое призвание опроверг, и оттого пошел от одной стражбы к другой, все более и более претерпевая, но нигде не погиб, пока все мне монахом в видении предреченное в настоящем житейском исполнении оправдалось за мое недоверие.

3

– Не успел я, по сем благодетельствованию своих господ, вернуться с ними домой на новых лошадях, коих мы в Воронеже опять шестерик собрали, как прилучилось мне завести у себя в конюшне на полочке хохлатых голубей – голубя и голубочку. Голубь был глинистого пера, а голубочка беленькая и такая красноноженькая, прехорошенькая!.. Очень они мне нравились: особенно, бывало, когда голубь ночью воркует, так это приятно слушать, а днем они между лошадей летают и в ясли садятся, корм клюют и сами с собою целуются... Утешно на все на это молодому ребенку смотреть.

И пошли у них после этого целования дети; одну пару вывели, и опять эти растут, а они целовались-целовались, да и опять на яички сели и еще вывели... Маленькие такие это голубяточки, точно в шерсти, а пера нет, и желтые, как бывают ядрышки на траве, что зовут «кошачьи просвирки», а носы притом не хуже, как у черкесских князей, здоровенные... Стал я их, этих голубят, разглядывать и, чтобы их не помять, взял одного за носик и смотрел, смотрел на него и засмотрелся, какой он нежный, а голубь его у меня все отбивает. Я с ним и забавлялся – все его этим голубенком дразню; да потом как стал пичужку назад в гнездо класть, а он уже и не дышит. Этакая досада; я его и в горстях-то грел и дышал на него, все оживить хотел; нет, пропал да и полно! Я рассердился, взял да и швырнул его вон за окно. Ну ничего; другой в гнезде остался, а этого дохлого, откуда ни возьмись, белая кошка какая-то мимо бежала, и подхватила, и помчала. И я ее, эту кошку, еще хорошо заметил, что она вся белая, а на лобочке, как шапочка, черное пятнышко. Ну да думаю себе, прах с ней – пусть она мертвого ест. Но только ночью я сплю и вдруг слышу, на полочке над моей кроватью голубь с кем-то сердито бьется. Я вскочил и гляжу, а ночь лунная, и мне видно, что это опять та же кошечка белая уже другого, живого моего голубенка тащит.

«Ну, – думаю, – нет, зачем же, мол, это так делать?» – да вдогонку за нею и швырнул сапогом, но только не попал, – так она моего голубенка унесла и, верно, где-нибудь съела. Осиротели мои голубки, но недолго поскучали и начали опять целоваться, и опять у них парка детей готовы, а та проклятая кошка опять как тут... Лихо ее знает, как это она все это наблюдала, но только гляжу я, один раз она среди белого дня опять голубенка волочит, да так ловко, что мне и швырнуть-то за ней нечем было. Но зато же я решился ее пробрать и настроил в окне

такой силок, что чуть она ночью морду показала, тут ее сейчас и прихлопнуло, и она сидит и жалится, мяучит. Я ее сейчас из силка вынул, воткнул ее мордую и передними лапами в голенище, в сапог, чтобы она не царапалась, а задние лапки вместе с хвостом забрал в левую руку, в рукавицу, а в правую кнут со стены снял, да и пошел ее на своей кровати учить. Кнутов, я думаю, сотни полторы я ей закатил, и то изо всей силы, до того, что она даже и биться перестала. Тогда я ее из сапога вынул и думаю: издохла или не издохла? Сем, думаю, испробовать, жива она или нет? и положил я ее на порог да топориком хвост ей и отсек: она этак «мя-я», вся вздрогнула и перекрутилась раз десять, да и побежала.

«Хорошо, – думаю, – теперь ты сюда небось в другой раз на моих голубят не пойдешь»; а чтобы ей еще страшнее было, так я наутро взял да и хвост ее, который отсек, гвоздиком у себя над окном снаружи приколотил и очень этим был доволен. Но только так через час или не более как через два, смотрю, вбегаёт графинина горничная, которая отроду у нас на конюшне никогда не была, и держит над собой в руке зонтик, а сама кричит: «Ага, ага! вот это кто! вот это кто!»

Я говорю: «Что такое?»

«Это ты, – говорит, – Зозиньку изувечил? Признавайся: это ведь у тебя ее хвостик над окном приколочен?»

Я говорю: «Ну так что же такое за важность, что хвостик приколочен?»

«А как же ты, – говорит, – это смел?»

«А она, мол, как смела моих голубят есть?»

«Ну, важное дело твои голубята!»

«Да и кошка, мол, тоже небольшая барыня».

Я уже, знаете, на возрасте-то поругиваться стал.

«Что, – говорю, – за штука такая кошка».

А та стрекоза: «Как ты этак смеешь говорить: ты разве не знаешь, что это моя кошка и ее сама графиня ласкала», – да с этим ручкою хватить меня по щеке, а я, как сам тоже с детства был скор на руку, долго не думая, схватил от дверей грязную метлу, да ее метлою по талии...

Боже мой, что тут поднялось! Повели меня в контору к немцу-управителю судить, и он рассудил, чтобы меня как можно жесточе выпороть и потом с конюшни долой и в аглицкий сад для дорожки молотком камешки бить... Отодрали меня ужасно жестоко, даже подняться я не мог, и к отцу на рогожке снесли, но это бы мне ничего, а вот последнее осуждение, чтобы стоять на коленях да камешки бить... это уже домучило меня до того, что я думал-думал, как себе помочь, и решил с своею жизнью покончить. Припас я себе крепкую сахарную веревочку, у лакейчонка ее выпросил, и пошел вечером выкупался, а отудова в осиновый лесок за огуменником, стал на колены, помолился за вся християны, привязал ту веревочку за сук, затравил петлю и всунул в нее голову. Осталось скакнуть, да и вся б недолга была... Я бы все это от своего характера пресвободно и исполнил, но только что размахнулся да соскочил с сука и повис, как, гляжу, уже я на земле лежу, а передо мною стоит цыган с ножом и смеется – белые-пребелые зубы, да так ночью середь черной морды и сверкают.

«Что это, – говорит, – ты, батрак, делаешь?»

«А тебе, мол, что до меня за надобность?»

«Или, – пристаёт, – тебе жить худо?»

«Видно, – говорю, – не сахарно».

«Так чем своей рукой вешаться, пойдём, – говорит, – лучше с нами жить, авось иначе повиснешь».

«А вы кто такие и чем живете? Вы ведь небось воры?»

«Воры, – говорит, – мы и воры и мошенники».

«Да; вот видишь, – говорю, – а при случае, мол, вы, пожалуй, небось и людей режете?»

«Случается, – говорит, – и это действуем».

Я подумал-подумал, что тут делать: дома завтра и послезавтра опять все то же самое, стой на дорожке на коленях да тюп да тюп молоточком камешки бей, а у меня от этого ремесла уже на коленках наросты пошли и в ушах одно слышание было, как надо мною все насмеются, что осудил меня вражий немец за кошкин хвост целую гору камня перемусорить. Смеются все. «А еще, – говорят, – спаситель называешься: господам жизнь спас». Просто терпения моего не стало, и, взгадав все это, что если не удавиться, то опять к тому же надо вернуться, махнул я рукою, заплакал и пошел в разбойники.

4

– Тут этот хитрый цыган не дал мне опомниться и говорит: «Чтоб я, – говорит, – тебе поверил, что ты назад не уйдешь, ты должен мне сейчас из барской конюшни пару коней вывести, да бери коней таких, самых наилучших, чтобы мы на них до утра далеко могли ускакать».

Я закручинился: страсть как мне не хотелось воровать; однако, видно, назвавшись груздем, полезешь и в кузов; и я, зная в конюшне все ходы и выходы, без труда вывел за гумно пару лихих коней, кои совсем устали не ведали, а цыган еще до того сейчас достал из кармана на шнурочке волчьи зубы и повесил их и одному и другому коню на шею, и мы с цыганом сели на них и поехали. Лошади, чуя на себе волчью кость, так неслись, что и сказать нельзя, и мы на них к утру стали за сто верст под городом Карачевом. Тут мы этих коней враз продали какому-то дворнику, взяли деньги и пришли к одной речке и стали делиться. За коней мы взяли триста рублей, разумеется по-тогдашнему, на ассигнацию¹⁸, а цыган мне дает всего один серебряный целковый и говорит: «Вот тебе твоя доля».

Мне это обидно показалось.

«Как, – говорю, – я же тех лошадей крал и за то больше тебя пострадать мог, а за что же моя доля такая маленькая?»

«Потому, – отвечает, – что такая выросла».

«Это, – говорю, – глупости: почему же ты себе много берешь?»

«А опять, – говорит, – потому, что я мастер, а ты еще ученик».

«Что, – говорю, – ученик, – ты это все врешь!» Да и пошло у нас с ним слово за слово, и оба мы поругались. А наконец я говорю: «Я с тобою не хочу дальше идти, потому что ты подлец».

А он отвечает: «И отстань, брат, Христа ради, потому что ты беспачпортный, еще с тобою спутаешься».

Так мы и разошлись, и я было пошел к заседателю, чтобы объявиться, что я сбеглый, но только рассказал я эту свою историю его писарю, а тот мне и говорит: «Дурак ты, дурак: на что тебе объявляться; есть у тебя десять рублей?»

«Нет, – говорю, – у меня один целковый есть, а десяти рублей нету».

«Ну так, может быть, еще что-нибудь есть, может быть, серебряный крест на шее, или вон это что у тебя в ухе: серьга?»

«Да, – говорю, – это сережка».

«Серебряная?»

«Серебряная, и крест, мол, тоже имею от Митрофания¹⁹ серебряный».

«Ну, скидай, – говорит, – их скорее и давай их мне, я тебе отпусковой вид напишу, и уходи в Николаев, там много людей нужно, и страсть что туда от нас бродяг бежит».

¹⁸ То есть на бумажные деньги, которые оценивались в 30—40-х годах XIX века двадцать семь копеек серебром за один рубль ассигнацией.

¹⁹ Крест, полученный в воронежском Митрофаниевском монастыре.

Я ему отдал целковый, крест и сережку, а он мне вид написал и заседателю печать приложил и говорит: «Вот за печать с тебя надо бы прибавку, потому что я так со всех беру, но только уже жалею твою бедность и не хочу, чтобы моих рук виды не в совершенстве были. Ступай, – говорит, – и кому еще нужно – ко мне посылай».

«Ладно, – думаю, – хорош милостивец: крест с шеи снял, да еще и жалеет». Никого я к нему не посылай, а все только шел Христовым именем без грошика медного.

Прихожу в этот город и стал на торжок, чтобы наниматься. Народу наемного самая малость вышла – всего три человека, и тоже все, должно быть, точно такие, как я, полубродяжки, а нанимать выбежало много людей, и все так нас нарасхват и рвут, тот к себе, а этот на свою сторону. На меня напал один барин, огромный-преогромный, больше меня, и прямо всех от меня отпихнул и схватил меня за обе руки и поволок за собою: сам меня ведет, а сам других во все стороны кулаками расталкивает и преподло бранится, а у самого на глазах слезы. Привел он меня в домишко, невесть из чего наскоро сколоченный, и говорит: «Скажи правду: ты ведь беглый?»

Я говорю: «Беглый».

«Вор, – говорит, – или душегубец, или просто бродяга?»

Я отвечаю: «На что вам это спрашивать?»

«А чтобы лучше знать, к какой ты должности годен».

Я рассказал все, отчего я сбежал, а он вдруг кинулся меня целовать и говорит: «Такого мне и надо, такого мне и надо! Ты, – говорит, – верно, если голубят жалел, так ты можешь мое дитя выходить: я тебя в няньки беру».

Я ужаснулся.

«Как, – говорю, – в няньки? Я к этому обстоятельству совсем не сроден».

«Нет, это пустяки, – говорит, – пустяки: я вижу, что ты можешь быть нянькой; а то мне беда, потому что у меня жена с ремонтером отсюда с тоски сбежала и оставила мне грудную дочку, а мне ее кормить некогда и нечем, так ты ее мне выкормишь, а я тебе по два целковых в месяц стану жалованья платить».

«Помилуйте, – отвечаю, – тут не о двух целковых, а как я в этой должности справлюсь?»

«Пустяки, – говорит, – ведь ты русский человек? Русский человек со всем справится».

«Да что же, мол, хоть я и русский, но ведь я мужчина, и чего нужно, чтобы грудное дитя воспитывать, тем не одарен».

«А я, – говорит, – на этот счет тебе в помощь у жида козу куплю: ты ее дои и тем молочком мою дочку воспитывай».

Я задумался и говорю: «Конечно, мол, с козой отчего дитя не воспитать, но только все бы, – говорю, – кажется, вам женщину к этой должности лучше иметь».

«Нет, ты мне про женщин, пожалуйста, – отвечает, – не говори: из-за них-то тут все истории и поднимаются, да и брать их неоткуда, а ты если мое дитя нянчить не согласишься, так я сейчас казаков позову и велю тебя связать да в полицию, а оттуда по пересылке отправят. Выбирай теперь, что тебе лучше: опять у своего графа в саду на дорожке камни щелкать или мое дитя воспитывать?»

Я подумал: нет, уже назад не пойду, и согласился остаться в няньках. В тот же день мы купили у жида белую козу с козленочком. Козленочка я заколол, и мы его с моим барином в лапше съели, а козочку я подоил и ее молочком начал дитя поить. Дитя было маленькое и такое поганое, жалкое: все пищит. Барин мой, отец его, из полячков был чиновник и никогда, прохвостик, дома не сидел, а все бегал по своим товарищам в карты играть, а я один с этой моей воспитомкой, с девчурочкой, и страшно я стал к ней привыкать, потому что скука для меня была тут несносная, и я от нечего делать все с ней упражнялся. То положу дитя в корытце да хорошенько ее вымою, а если где на кожечке сыпка зацветет, я ее сейчас мучкой подсыплю; или головенку ей расчесываю, или на коленях качаю ее, либо, если дома очень соскучусь, суну

ее за пазуху да пойду на лиман белье полоскать, – и коза-то и та к нам привыкла, бывало, за нами тоже гулять идет. Так я дожил до нового лета, и дитя мое подросло и стало дыбки стоять, но замечаю я, что у нее что-то ножки колесом идут. Я было на это барину показал, но он ничего на то не уважил и сказал только: «Я, – говорит, – тут чем причинен? Снеси ее лекарю, покажи: пусть посмотрит».

Я понес, а лекарь говорит: «Это аглицкая болезнь, надо ее в песок сажать».

Я так и начал исполнять: выбрал на бережку лимана такое местечко, где песок есть, и как погожий теплый день, я заберу и козу и девочку и туда с ними удаляюсь. Разгребу руками теплый песочек и закопаю туда девочку по пояс и дам ей палочек играть и камушков, а коза наша вокруг нас ходит, травку щиплет, а я сижу, сижу, руками ноги обхвативши, и засну, и сплю.

По целым дням таким манером мы втроем одни проводили, и это мне лучше всего было от скуки, потому что скука, опять повторю, была ужасная, и особенно мне тут весною, как я стал девочку в песок закапывать да над лиманом спать, пошли разные бестолковые сны. Как усну, а лиман рокочет, а со степи теплый ветер на меня несет, так точно с ним будто что-то плывет на меня чародейное, и нападает страшное мечтание: вижу какие-то степи, коней, и все меня будто кто-то зовет и куда-то манит: слышу, даже имя кричит: «Иван! Иван! иди, брат Иван!» Встрепенешься, инда вздрогнешь и плюнешь: тьфу, пропасти на вас нет, чего вы меня вскрикались! Оглянешься кругом: тоска; коза уже отойдет далеко, бродит, травку щипет, да дитя закопано в песке сидит, а больше ничего... Ух, как скучно! Пустынь, солнце да лиман, и опять заснешь, а оно, это течение с поветрием, опять в душу лезет и кричит: «Иван! пойдем, брат Иван!» Даже выругаешься, скажешь: «Да покажись же ты, лихо тебя возьми, кто ты такой, что меня так зовешь?» И вот я так раз озлобился и сижу да гляжу вполсна за лиман, и оттоль как облачко легкое поднялось и плывет, и прямо на меня, думаю: тпру, куда ты, благое, еще вымочишь! Ан вдруг вижу: это надо мною стоит тот монах с бабьим лицом, которого я давно, форейтором бывши, кнутом засек. Я говорю: «Тпружи! пошел прочь!» А он этак ласково звенит: «Пойдем, Иван, брат, пойдем! Тебе еще много надо терпеть, а потом достигнешь». Я его во сне выругал и говорю: «Куда я с тобой пойду и чего еще достигать буду». А он вдруг опять облаком сделался и сквозь себя показал мне и сам не знаю что: степь, люди такие дикие, сарацины, как вот бывают при сказках в Еруслане и в Бове Королевиче; в больших шапках лохматых и с стрелами, на страшных диких конях. И с этим, что вижу, послышались мне и гогот, и ржанье, и дикий смех, а потом вдруг вихорь... взмело песок тучею, и нет ничего, только где-то тонко колокол тихо звонит, и весь как алою зарею облитый большой белый монастырь по вершине показывается, а по стенам крылатые ангелы с золотыми копиями ходят, а вокруг море, и как который ангел по щиту копьем ударит, так сейчас вокруг всего монастыря море всколыхнется и заплещет, а из бездны страшные голоса вопиют: «Свят!»

«Ну, – думаю, – опять это мне про монашество пошло!» – и с досадою проснулся и в удивлении вижу, что над моею барышнею кто-то стоит на песку на коленях, самого нежного вида, и река рекой разливается-плачет.

Я долго на это смотрел, потому что все думал: не длится ли мне это видение, но потом вижу, что оно не исчезает, я и встал и подхожу: вижу – дама девочку мою из песку выкопала, и схватила ее на руки, и целует, и плачет.

Я спрашиваю ее: «Что надо?»

А она ко мне и бросилась и жмет дитя к груди, а сама шепчет: «Это мое дитя, это дочь моя, это дочь моя!»

Я говорю: «Ну так что же в этом такое?»

«Отдай, – говорит, – мне ее».

«С чего же ты это, – говорю, – взяла, что я ее тебе отдам?»

«Разве тебе, – плачет, – ее не жаль? Видишь, как она ко мне жметя».

«Жаться, мол, она глупый ребенок – она тоже и ко мне жметя, а отдать я ее не отдам».
«Почему?»

«Потому, мол, что она мне на соблюдение поверена – вон и коза с нами ходит, а я дитя должен отцу приносить».

Она, эта барынька, начала плакать и руки ломать.

«Ну хорошо, – говорит, – ну, не хочешь дитя мне отдать, так, по крайней мере, не сказывай, – говорит, – моему мужу, а твоему господину, что ты меня видел, и приходи завтра опять сюда на это самое место с ребенком, чтобы я его еще поласкать могла».

«Это, мол, другое дело, – это я обещаю и исполню».

И точно, я ничего про нее своему барину не сказал, а наутро взял козу и ребенка и пошел опять к лиману, а барыня уже ждет. Все в ямочке сидела, а как нас завидела, выскочила, и бежит, и плачет, и смеется, и в обеих ручках дитю игрушечки сует, и даже на козу на нашу колокольчик на красной суконке повесила, а мне трубку, и кисет с табаком, и расческу.

«Кури, – говорит, – пожалуйста, эту трубочку, а я буду дитя нянчить».

И таким манером пошли у нас тут над лиманом свидания: барыня все с дитем, а я сплю, а порой она мне начнет рассказывать, что она того... замуж в своем месте за моего барина насильно была выдана... злою мачехою и того... этого мужа своего она не того... говорит, никак не могла полюбить. А того... этого... другого-то, ремонтера-то... что ли... этого любит и жалуется, что против воли, говорит, своей я ему... предана. Потому муж мой, как сам, говорит, знаешь, неаккуратной жизни, а этот с этими... ну, как их?.. с усиками, что ли, прах его знает, и очень чисто, говорит, он завсегда одевается, и меня жалеет, но только же опять я, говорит, со всем с этим все-таки не могу быть счастлива, потому что мне и этого дитя жаль. А теперь мы, говорит, с ним сюда приехали и стоим здесь на квартире у одного у его товарища, но я живу под большим опасением, чтобы мой муж не узнал, и мы скоро уедем, и я опять о дите страдать буду.

«Ну что же, мол, делать: если ты, презрев закон и религию, свой обряд изменила, то должна и пострадать».

А она начнет плакать, и от одного дня раз от разу больше и жалостнее стала плакать, и мне жалобами докучает, и вдруг ни с того ни с сего стала все мне деньги сулить. И наконец пришла последний раз прощаться и говорит: «Послушай, Иван (она уже имя мое знала), послушай, – говорит, – что я тебе скажу: нынче, – говорит, – он сам сюда к нам придет».

Я спрашиваю: «Кто это такой?»

Она отвечает: «Ремонтер».

Я говорю: «Ну так что ж мне за причина?»

А она повествует, что будто он сею ночью страсть как много денег в карты выиграл и сказал, что хочет ей в удовольствие мне тысячу рублей дать за то, чтобы я то есть ей ее дочку отдал.

«Ну, уж вот этого, – говорю, – никогда не будет».

«Отчего же, Иван? отчего же? – пристаает. – Неужто тебе меня и ее не жаль, что мы в разлуке?»

«Ну, мол, жаль или не жаль, а только я себя не продавал ни за большие деньги, ни за малые, и не продам, а потому все ремонтеровы тысячи пусть при нем остаются, а твоя дочка при мне».

Она плакать, а я говорю: «Ты лучше не плачь, потому что мне все равно».

Она говорит: «Ты бессердечный, ты каменный».

А я отвечаю: «Совсем, мол, я не каменный, а такой же, как все, костяной да жильный, а я человек должностной и верный: взялся хранить дитя и берегу его».

Она убеждает, что ведь, посуди, говорит, и самому же дитяти у меня лучше будет!

«Опять-таки, – отвечаю, – это не мое дело».

«Неужто же, – вскрикивает она, – неужто же мне опять с дитем моим должно расставаться?»

«А что же, – говорю, – если ты, презрев закон и религию...»

Но только не договорил я этого, что хотел сказать, как вижу, к нам по степи легкий улан идет. Тогда полковые еще как должно ходили, с форсом, в настоящей военной форме, не то что как нынешние, вроде писарей. Идет этот улан-ремонтёр, такой осанистый, руки в боки, а шинель широко наопашку несет... силы в нем, может быть, и нисколько нет, а форсисто... Гляжу на этого гостя и думаю: «Вот бы мне отлично с ним со скуки поиграть». И решил, что, чуть если он ко мне какое слово заговорит, я ему непременно как ни можно хуже согрублю, и авось, мол, мы с ним здесь, бог даст, в свое удовольствие подеремся. Это, восторгаюсь, будет чудесно, и того, что мне в это время говорит и со слезами моя барынька лепечет, уже не слушаю, а только играть хочу.

5

– Только, решивши себе этакую потеху добыть, я думаю: как бы мне лучше этого офицера раздражить, чтобы он на меня нападать стал? И взял я сел, вынул из кармана гребень и зачал им себя будто в голове чесать; а офицер подходит и прямо к той своей барыньке.

Она ему – та-та-та, та-та: все, значит, о том, что я ей дитя не даю.

А он ее по головке гладит и говорит: «Ничего это, душенька, ничего: я против него сейчас средство найду. Деньги, – говорит, – раскинем, у него глаза разбежатся; а если и это средство не подействует, так мы просто отнимем у него ребенка», – и с этим самым словом подходит ко мне и подает мне пучок ассигнаций, а сам говорит: «Вот, – говорит, – тут ровно тысяча рублей, – отдай нам дитя, а деньги бери и ступай куда хочешь».

А я нарочно невежничая, не скоро ему отвечаю: прежде встал потихонечку; потом гребень на поясок повесил, откашлянулся и тогда молвил: «Нет, – говорю, – это твое средство, ваше благородие, не подействует», – а сам взял, вырвал у него из рук бумажки, поплевал на них да и бросил, говорю: «Тубо²⁰, пиль²¹, апорт²², подними!»

Он огорчился, весь покраснел, да на меня; но мне, сами можете видеть мою комплекцию, – что же мне с форменным офицером долго справляться: я его так слегка пихнул, он и готов: полетел и шпоры вверх задрал, а сабля на сторону отогнулася. Я сейчас топнул, на эту саблю его ногой наступил и говорю: «Вот тебе, – говорю, – и храбрость твою под ногой придавлю».

Но он хоть силой плох, но отважный был офицерик: видит, что сабельки ему у меня уже не отнять, так распоясал ее да с кулачками ко мне борзо кидается... Разумеется, и эдак он от меня ничего, кроме телесного огорчения, для себя не получил, но понравилось мне, как он характером своим был горд и благороден: я не беру его денег, и он их тоже не стал подбирать.

Как перестали мы драться, я кричу: «Возьми же, ваше сиятельство, свои деньги подбери, на прогоны годится!»

Что же вы думаете: ведь не поднял, а прямо бежит и за дитя хватается; но, разумеется, он берет дитя за руку, а я сейчас же хватъ за другую и говорю: «Ну, тяни его: на чью половину больше оторвется».

Он кричит: «Подлец, подлец, изверг!» – и с этим в лицо мне плюнул и ребенка бросил, а уже только эту барыньку увлекает, а она в отчаянии прежалобно вопит и, насильно влекома, за

²⁰ Нельзя! Не тронь! (*Приказание легавой собаке.*)

²¹ Вперед! Бери! (*Приказание легавой собаке.*)

²² Принеси! (*Приказание легавой собаке.*)

ним хотя следует, но глаза и руки сюда ко мне и к дите простирает... и вот вижу я и чувствую, как она, точно живая, пополам рвется, половина к нему, половина к дитяти...

А в эту самую минуту от города, вдруг вижу, бежит мой барин, у которого я служу, и уже в руках пистолет, и он все стреляет из того пистолета да кричит: «Держи их, Иван! Держи!»

«Ну как же, – думаю себе, – так я тебе и стану их держать! Пускай любятся!» – да догнал барыньку с уланом, даю им дитя и говорю: «Нате вам этого пострела! Только уже теперь и меня, – говорю, – увозите, а то он меня правосудию сдаст, потому что я по незаконному паспорту».

Она говорит: «Уедем, голубчик Иван, уедем, будем с нами жить».

Так мы и ускакали и девчурку, мою воспитомку, с собой увезли, а тому моему барину коза, да деньги, да мой паспорт остались.

Всю дорогу я с этими своими с новыми господами все на козлах на тарантасе, до самой Пензы едучи, сидел и думал: хорошо ли же это я сделал, что я офицера бил? ведь он присягу принимал, и на войне с саблею отечество защищает, и сам государь ему, по его чину, может быть, «вы» говорит, а я, дурак, его так обидел!.. А потом это передумаю, начну другое думать: куда теперь меня еще судьба определит; а в Пензе тогда была ярмарка, и улан мне говорит: «Послушай, Иван, ты ведь, я думаю, знаешь, что мне тебя при себе держать нельзя».

Я говорю: «Почему же?»

«А потому, – отвечает, – что я человек служащий, а у тебя никакого паспорта нет».

«Нет, у меня был, – говорю, – паспорт, только фальшивый».

«Ну вот видишь, – отвечает, – а теперь у тебя и такого нет. На же вот тебе двести рублей денег на дорогу и ступай с Богом куда хочешь».

А мне, признаюсь, ужась как неохота была никуда от них идти, потому что я то дитя любил; но делать нечего, говорю: «Ну, прощайте, – говорю, – покорно вас благодарю на вашем награждении, но только еще вот что».

«Что, – спрашивает, – такое?»

«А то, – отвечаю, – что я перед вами виноват, что дрался с вами и грубил».

Он рассмеялся и говорит: «Ну что это, Бог с тобой, ты добрый мужик».

«Нет-с, это, – отвечаю, – мало ли что добрый, это так нельзя, потому что это у меня может на совести остаться: вы защитник отечества, и вам, может быть, сам государь “вы” говорил».

«Это, – отвечает, – правда: нам, когда чин дают, в бумаге пишут: “Жалуем вас и повелеваем вас почитать и уважать”».

«Ну, позвольте же, – говорю, – я этого никак дальше снести не могу...»

«А что же, – говорит, – теперь с этим делать. Что ты меня сильнее и поколотил меня, того назад не вынешь».

«Вынуть, – говорю, – нельзя, а по крайности, для облегчения моей совести, как вам угодно, а извольте сколько-нибудь раз меня сами ударить», – и взял обе щеки перед ним надул.

«Да за что же? – говорит, – за что же я тебя стану бить?»

«Да так, – отвечаю, – для моей совести, чтобы я не без наказания своего государя офицера оскорбил».

Он засмеялся, а я опять надул щеки как можно полнее и опять стою.

Он спрашивает: «Чего же ты это надуваешься, зачем гримасничаешь?»

А я говорю: «Это я по-солдатски, по артикулу приготовился: извольте, – говорю, – меня с обеих сторон ударить», – и опять щеки надул; а он вдруг вместо того чтобы меня бить, сорвался с места и ну целовать меня и говорит: «Полно, Христа ради, Иван, полно: ни за что на свете я тебя ни разу не ударю, а только уходи поскорее, пока Машеньки с дочкой дома нет, а то они по тебе очень плакать будут».

«А! это, мол, иное дело; зачем их огорчать?»

И хоть не хотелось мне отходить, но делать нечего: так и ушел поскорей, не прощавшись, и вышел за ворота, и стал, и думаю:

«Куда я теперь пойду?» И взаправду, сколько времени прошло с тех пор, как я от господ бежал и бродяжу, а все я нигде места под собой не согрею... «Шабаш, – думаю, – пойду в полицию и объявлюсь, но только, – думаю, – опять теперь то нескладно, что у меня теперь деньги есть, а в полиции их все отберут: дай же хоть что-нибудь из них потрачу, хоть чаю с кренделями в трактире попью в свое удовольствие». И вот я пошел на ярмарку в трактир, спросил чаю с кренделями и долго пил, а потом вижу, дольше никак невозможно продолжать, и пошел походить. Выхожу за Суру за реку на степь, где там стоят конские косяки, и при них же тут и татары в кибитках. Все кибитки одинаковые, но одна пестрая-препестрая, а вокруг нее много разных господ занимают, ездовых коней пробуют. Разные – и штатские, и военные, и помещики, которые приехали на ярмарку, все стоят, трубки курят, а посередине их на пестрой кошме сидит тонкий, как жердь, длинный степенный татарин в штучном халате и в золотой тюбетейке. Я оглядаюсь и, видя одного человека, который при мне в трактире чай пил, спрашиваю его: что это такой за важный татарин, что он один при всех сидит? А мне тот человек отвечает:

«Нешто ты, – говорит, – его не знаешь: это хан Джангар».

«Что, мол, еще за хан Джангар?»

А тот и говорит: «Хан Джангар, – говорит, – первый степной коневод, его табуны ходят от самой Волги до самого Урала во все Рынь-пески, и сам он, этот хан Джангар, в степи все равно что царь».

«Разве, – говорю, – эта степь не под нами?»

«Нет, она, – отвечает, – под нами, но только нам ее никак достать нельзя, потому что там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы по поднебесью вьются, и чиновнику там совсем взять нечего, вот по этой причине, – говорит, – хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы, и он их всех, как ему надо, наказывает, а они тому рады повиноваться».

Я эти слова слушаю, а сам смотрю, что в то самое время один татарчонок пригонил перед этого хана небольшую белую кобылку и что-то залопотал; а тот встал, взял кнут на длинном кнутовище и стал прямо против кобылицыной головы и кнут ей ко лбу вытянул и стоит. Но ведь как, я вам доложу, разбойник, стоит? Просто статуя великолепная, на которого на самого заглядеться надо, и сейчас по нем видно, что он в коне все нутро соглядает. А как я по этой части сам с детства был наблюдателен, то мне видно, что и сама кобылица-то эта зрит в нем знатока, и сама вся навтыяжке перед ним держится: на-де, смотри на меня и любуйся! И таким манером он, этот степенный татарин, смотрел, смотрел на эту кобылицу и не обходил ее, как делают наши офицеры, что по суетливости все вокруг коня мычутся, а он все с одной точки взирал и вдруг кнут опустил, а сам персты у себя на руке молча поцеловал: дескать, антик! – и опять на кошме, склавши накрест ноги, сел, а кобылица сейчас ушми запряла, фыркнула и заиграла.

Господа, которые тут стояли, и пошли на нее вперебой торговаться: один дает сто рублей, а другой полтора и так далее, все большую друг против друга цену нагоняют. Кобылица была, точно, дивная, ростом не великонька, в подобье арабской, но стройненькая, головка маленькая, глазок полный, яблочком, ушки сторожкие; бочка самые звонкие, воздушные, спинка как стрелка, а ножки легкие, точеные, самые уносистые. Я как подобной красоты был любитель, то никак глаз от этой кобылицы не отвлеку. А хан Джангар видит, что на всех от нее зорость пришла и господа на нее как оглашенные цену наполняют, кивнул чумазому татарчонку, а тот как прыг на нее, на лебедушку, да и ну ее гонить, – сидит, знаете, по-своему, по-татарски, коленками ее ежит, а она под ним окрыляется и точно птица летит и не всколыхнет, а как он ей к холочке принагнется да на нее гикнет, так она так вместе с песком в один вихорь и воскурится. «Ах ты, змея! – думаю себе, – ах ты, стрепет степной, аспидский! где ты

только могла такая зародиться?» И чувствую, что рванулась моя душа к ней, к этой лошади, родной страстию. Пригонил ее татарчище назад, она пыхнула сразу в обе ноздри, выдулась и всю усталость сбросила и больше ни дыхнет и ни сапнет. «Ах ты, – думаю, – милушка; ах ты, милушка!» Кажется, спроси бы у меня за нее татарин не то что мою душу, а отца и мать родную, и тех бы не пожалел, – но где было о том и думать, чтобы этакого летуна достать, когда за нее между господами и ремонтёрами невесть какая цена слагалась, но и это еще было все ничего, как вдруг, тут еще торг не был кончен и никому она не досталась, как видим, из-за Суры, от Селиксы, гонит на вороном коне борзый всадник, а сам широкою шляпой машет, и подлетел, соскочил, коня бросил и прямо к той к белой кобылице, и стал опять у нее в головах, как и первый статуй, и говорит: «Моя кобылица».

А хан отвечает: «Как не твоя: господа мне за нее пятьсот монетов дают».

А тот всадник, татарчище этакий огромный и пузатый, морда загорела и вся облупилась, словно кожа с нее сорвана, а глаза малые, точно щелки, и орет сразу: «Сто монетов больше всех даю!»

Господа взъерепенились, еще больше сулят, а сухой хан Джангар сидит да губы цмокает, а от Суры с другой стороны еще всадник-татарчище гонит на гривастом коне, на игренем, и этот опять весь худой, желтый, в чем кости держатся, а еще озорнее того, что первый приехал. Этот съерзнул с коня и, как гвоздь, воткнулся перед белой кобылицей, и говорит: «Всем отвечаю: хочу, чтобы моя была кобылица!»

Я и спрашиваю соседа: в чем тут у них дело зависит. А он отвечает: «Это, – говорит, – дело зависит от очень большого хана Джангарова понятия. Он, – говорит, – не один раз, а чуть не всякую ярмарку тут такую штуку подводит, что прежде всех своих обыкновенных коней, коих пригонит сюда, распродаст, а потом в последний день, вихорь его знает откуда, как из-за пазухи выймет такого коня или двух, что конэсеры не знают что делают; а он, хитрый татарин, глядит на это да тешится и еще деньги за то получает. Эту его привычку зная, все уже так этого последыша от него и ожидают, и вот оно так и теперь вышло: все думали, хан ноне уедет, и он, точно, ночью уедет, а теперь ишь какую кобылицу вывел...»

«Диво, – говорю, – какая лошадь!»

«Подлинно диво, он ее, говорят, к ярмарке всередине косяка пригонил, и так гнал, что ее за другими конями никому видеть нельзя было, и никто про нее не знал, опричь этих татар, что приехали, да и тем он казал, что кобылица у него не продажная, а заветная, да ночью ее от других отлучил и под Мордовский ишим в лес отогнал и там на поляне с особым пастухом пас, а теперь вдруг ее выпустил и продавать стал, и ты погляди, что из-за нее тут за чудеса будут и что он, собака, за нее возьмет, а если хочешь, ударимся об заклад, кому она достанется?»

«А что, мол, такое: из-за чего нам биться?»

«А из-за того, – отвечает, – что тут страсть что сейчас почнется: и все господа непременно спятятся, а лошадь который-нибудь вот из этих двух азиатов возьмет».

«Что же они, – спрашиваю, – очень, что ли, богаты?»

«И богатые, – отвечает, – и озорные охотники: они свои большие косяки гоняют и хорошей, заветной лошади друг другу в жизнь не уступят. Их все знают: этот брюхастый, что вся морда облуплена, это называется Бакшей Отучев, а худощивый, что одни кости ходят, Чепкун Емгурчеев, – оба злые охотники, и ты только смотри, что они за потеху сделают».

Я замолчал и смотрю: господа, которые за кобылицу торговались, уже отступились от нее и только глядят, а те два татарина друг дружку отпихивают и все хана Джангара по рукам хлопают, а сами за кобылицу держатся и все трясутся да кричат; один кричит: «Я даю за нее, кроме монетов, еще пять голов» (значит, пять лошадей), – а другой вопит: «Врет твоя морда, я даю десять».

Бакшей Отучев кричит: «Я даю пятнадцать голов».

А Чепкун Емгурчеев: «Двадцать».

Бакшей: «Двадцать пять».

А Чепкун: «Тридцать».

А больше ни у того, ни у другого, видно, уже нет... Чепкун крикнул тридцать, а Бакшей дает тоже только тридцать, а больше нет; но зато Чепкун еще в придачу седло сулит, а Бакшей седло и халат, и Чепкун халат скидает, больше опять друг друга им нечем одолевать. Чепкун крикнул: «Слушай меня, хан Джангар: я домой приеду, я к тебе свою дочь пригоню», – и Бакшей тоже дочь сулит, а больше опять друг друга нечем пересилить. Тут вдруг вся татарва, кои тут это торговище зрели, заорали, загалдели по-своему; их разнимают, чтобы до разорения друг друга не довели, тормозят их, Чепкуна и Бакшею, в разные стороны, в бока их тычут, уговаривают.

Я спрашиваю у соседа: «Скажи, пожалуйста, что это такое у них теперь пошло?»

«А вот видишь, – говорит, – этим князьям, которые их разнимают, им Чепкуна с Бакшеем жалко, что они очень заторговались, так вот они их разлучают, чтобы опомнились и как-нибудь друг дружке честью кобылицу уступили».

«Как же, – спрашиваю, – можно ли, чтобы они друг дружке ее уступили, когда она обоим им так нравится? Этого быть не может».

«Отчего же, – отвечает, – азиаты народ рассудительный и степенный: они рассудят, что зачем напрасно имение терять, и хану Джангару дадут, сколько он просит, а кому коня взять, с общего согласия наперепор пустят».

Я любопытствую: «Что же, мол, такое это значит: “наперепор”?»

А тот мне отвечает: «Нечего спрашивать, смотри, это видеть надо, а оно сейчас начинается».

Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчеев оба будто стишали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

«Сгодá!» – дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает: «Сгодá!» – поладили.

И оба враз с себя и халаты долой, и бешметы, и чевяки сбросили, ситцевые рубахи сняли, и в одних широких полосатых портищах остались, и плюх один против другого, сели на землю, как курохтаны²³ степные, и сидят.

В первый раз мне этакое диво видеть доводилось, и я смотрю, что дальше будет. А они друг дружке левые руки подали и крепко их держат, ноги растопырили и ими друг дружке следами в следы уперлись и кричат: «Подавай!»

Что такое они себе требуют «подавать», я не предвижу, но те, татарва-то, из кучки отвечают: «Сейчас, бачка, сейчас».

И вот вышел из этой кучки татарин старый, степенный такой, и держит в руках две здоровые нагайки и сравнял их в руках и кажет всей публике и Чепкуну с Бакшеем: «Глядите, – говорит, – обе штуки ровные».

«Ровные, – кричат татарва, – все мы видим, что благородно сделаны, плети ровные! Пусть садятся и начинают».

А Бакшей и Чепкун так и рвутся, за нагайки хватаются.

Степенный татарин и говорит им: «Подождите», – и сам им эти нагайки подал: одну Чепкуну, а другую Бакшею, да ладошами хлопает тихо, раз, два и три... И только что он в третье хлопнул, как Бакшей стегнет изо всей силы Чепкуна нагайкою через плечо по голой спине, а Чепкун таким самым манером на ответ его. Да и пошли эдак один другого потчевать: в глаза друг другу глядят, ноги в ноги следками упираются и левые руки крепко жмут, а правыми с

²³ Курохтан (турухтан) – птица из семейства бекасовых.

нагайками порются... Ух, как они знатно поролось! Один хорошо черкнет, а другой еще лучше. Глаза-то у обоих даже вытолбенели и левые руки замерли, а ни тот, ни другой не сдается.

Я спрашиваю у моего знакомца: «Что же это, мол, у них, стало быть, вроде как господа на дуэль, что ли, выходят?»

«Да, – отвечает, – тоже такой поединок, только это, – говорит, – не насчет чести, а чтобы не расхотеться».

«И что же, – говорю, – они эдак могут друг друга долго сечь?»

«А сколько им, – говорит, – похочется и сколько силы станет».

А те все хлещутся, а в народе за них спор пошел: одни говорят: «Чепкун Бакшея перепорет», – а другие спорят: «Бакшей Чепкуна перебьет», – и кому хочется, об заклад держат – те за Чепкуна, а те за Бакшея, кто на кого больше надеется. Поглядят им с познанием в глаза и в зубы, и на спины посмотрят и по каким-то приметам понимают, кто надежнее, за того и держат. Человек, с которым я тут разговаривал, тоже из зрителей опытных был и стал сначала за Бакшея держать, а потом говорит: «Ах, квит, пропал мой двугривенный: Чепкун Бакшея собьет».

А я говорю: «Почему то знать? Еще, мол, ничего не можно утвердить: оба еще ровно сидят».

А тот мне отвечает: «Сидят-то, – говорит, – они еще оба ровно, да не одна в них повадка».

«Что же, – говорю, – по моему мнению, Бакшей еще ярче стегает».

«А вот то, – отвечает, – и плохо. Нет, пропал за него мой двугривенный: Чепкун его заперет».

«Что это, – думаю, – такое за диковина: как он непонятно, этот мой знакомец, рассуждает? А ведь он же, – размышляю, – должно быть, в этом деле хорошо понимает практику, когда об заклад бьется!»

И стало мне, знаете, очень любопытно, и я к этому знакомцу пристаю.

«Скажи, – говорю, – милый человек, отчего ты теперь за Бакшея опасешься?»

А он говорит: «Экой ты пригородник глупый: ты гляди, – говорит, – какая у Бакшея спина».

Я гляжу: ничего, спина этакая хорошая, мужественная, большая и пухлая, как подушка.

«А видишь, – говорит, – как он бьет?»

Гляжу и вижу тоже, что бьет яростно, даже глаза на лоб выпялил, и так его как ударит, так сразу до крови и режет.

«Ну а теперь сообрази, как он нутрём действует?»

«Что же, мол, такое нутрём?» – Я вижу одно, что сидит он прямо, и весь рот открыл, и воздух в себя шибко забирает.

А мой знакомец и говорит: «Вот это-то и худо: спина велика, по ней весь удар просторно ложится; шибко бьет, запыхается, а в открытый рот дышит, он у себя воздухом все нутро пережжет».

«Что же, – спрашиваю, – стало быть, Чепкун надежней?»

«Непременно, – отвечает, – надежнее: видишь, он весь сухой, кости в одной коже держатся, а спиночка у него как лопата коробленая, по ней ни за что по всей удар не падет, а только местечками, а сам он, зри, как Бакшея спрехвала поливает, не частит, а с повадочкой, и плеть сразу не отхватывает, а под нею коже напухать дает. Вон она от этого, спина-то, у Бакшея вся и вздулась и как котел посинела, а крови нет, и вся боль у него теперь в теле стоит, а у Чепкуна на худой спине кожичка как на жареном поросенке трещит, прорывается, и оттого у него вся боль кровью сойдет, и он Бакшея заперет. Понимаешь ты это теперь?»

«Теперь, – говорю, – понимаю», – И точно, тут я всю эту азиатскую практику сразу понял и сильно ею заинтересовался: как в таком случае надо полезнее действовать?

«А еще самое главное, – указывает мой знакомец, – замечай, – говорит, – как этот проклятый Чепкун хорошо мордой такту соблюдает; видишь: стегнет и на ответ сам вытерпит и

соразмерно глазами хлопнет, – это легче, чем пялить глаза, как Бакшей пялит, и Чепкун зубы стиснул и губы прикусил, это тоже легче, оттого что в нем через эту замкнутость излишнего горения внутри нет».

Я все эти его любопытные приметы на ум взял и сам вглядываюсь и в Чепкуна, и в Бакшею, и все мне стало и самому понятно, что Бакшей непременно свалится, потому что у него уже и глазища совсем обостолопели и губы веревочкой собрались и весь оскал открыли... И точно, глядим, Бакшей еще раз двадцать Чепкуна стеганул и все раз от разу слабее, да вдруг бряк назад и левую Чепкунову руку выпустил, а своею правою все еще двигает, как будто бьет, но уже без памяти, совсем в обмороке. Ну, тот мой знакомый говорит: «Шабаш: пропал мой двугривенный». Тут все и татары заговорили, поздравляют Чепкуна, кричат: «Ай, башка Чепкун Емгурчеев, ай, умная башка – совсем пересек Бакшею, садись – теперь твоя кобыла».

И сам хан Джангар встал с кошмы и похаживает, а сам губами шлепает и тоже говорит: «Твоя, твоя, Чепкун, кобылица: садись, гони, на ней отдыхай».

Чепкун и встал: кровь струит по спине, а ничего – виду болезни не дает, положил кобылице на спину свой халат и бешмет, а сам на нее брюхом вскинулся и таким манером поехал, и мне опять скучно стало.

«Вот, – думаю, – все это уже и окончилось, и мне опять про свое положение в голову полезет», – а мне страх как не хотелось про это думать.

Но только, спасибо, мой тот знакомый человек говорит мне: «Подожди, не уходи, тут непременно что-то еще будет».

Я говорю: «Чему же еще быть? все кончено».

«Нет, – говорит, – не кончено, ты смотри, – говорит, – как хан Джангар трубку жжет. Видишь, палит: это он непременно еще про себя что-нибудь думает, самое азиатское».

Ну а я себе думаю: «Ах, если еще что будет в этом самом роде, то уже было бы только кому за меня заложиться, а уже я не спущу!»

6

– И что же вы изволите полагать? Все точно так и вышло, как мне желалось: хан Джангар трубку палит, а на него из чищобы гонит еще татарчонок, и уже этот не на такой кобылице, какую Чепкун с мировой у Бакшею взял, а караковый жеребенок, какого и описать нельзя. Если вы видали когда-нибудь, как по меже в хлебах птичка коростель бежит, – по-нашему, по-орловски, дергач зовется: крыла он растопырит, а зад у него не как у прочих птиц, не распространяется по воздуху, а вниз висит и ноги книзу пустит, точно они ему не надобны, – настоящее, выходит, будто он едет по воздуху. Вот и этот новый конь, на эту птицу подобно, точно не своей силой неся.

Истинно не солгу скажу, что он даже не летел, а только земли за ним сзади прибавлялось. Я этакой легкости сроду не видал и не знал, как сего конька и ценить, на какие сокровища, и кому его обречь, какому королевичу, а уже тем паче никогда того не думал, чтобы этот конь мой стал.

– Как он ваш стал? – перебили рассказчика удивленные слушатели.

– Так-с, мой, по всем правам мой, но только на одну минуту, а каким манером, извольте про это слушать, если угодно. Господа, по своему обыкновению, начали и на эту лошадь торговаться, и мой ремонтер, которому я дитя подарил, тоже встрял, а против них, точно ровня им, взялся татарин Савакирей, этакой коротыш, небольшой, но крепкий, верченый, голова бритая, словно точеная, и круглая, будто молодой кочешок крепенький, а рожа как морковь красная, и весь он будто огородинка какая здоровая и свежая. Кричит: «Что, – говорит, – по-пустому карман терять нечего, клади кто хочет деньги за руки, сколько хан просит, и давай со мною пороться, кому конь достанется?»

Господам, разумеется, это не пристало, и они от этого сейчас в сторону; да и где им с этим татаринком сечься, он бы, поганый, их всех перебил. А у моего ремонтера тогда уже и денег-то не очень густо было, потому он в Пензе опять в карты проигрался, а лошадь ему, я вижу, хочется. Вот я его сзади дернул за рукав да и говорю: так и так, мол, лишнего сулить не надо, а что хан требует, то дайте, а я с Савакиреем сяду потягаться на мировую. Он было не хотел, но я упрямился, говорю: «Сделайте такую милость: мне хочется».

Ну, так и сделали.

– Вы с этим татаринком... что же, секли друг друга?

– Да-с, тоже таким манером попоролось на мировую, и жеребенок мне достался.

– Значит, вы татарина победили?

– Победил-с, не без труда, но пересилил его.

– Ведь это, должно быть, ужасная боль.

– Ммм... как вам сказать... Да, вначале есть-с; и даже очень чувствительно, особенно потому, что без привычки, и он, этот Савакирей, тоже имел сноровку на брех бить, чтобы кровь не спускать, но я против этого его тонкого искусства свою хитрую сноровку взял: как он меня хлопынет, я сам под нагайкой спиной подперну, и так приноровался, что сейчас шкурку себе и сорву, таким манером и обезопасился, и сам этого Савакирея запорол.

– Как запорол, неужто совершенно до смерти?

– Да-с, он через свое упорство да через политику так глупо себя допустил, что его больше и на свете не стало, – отвечал добродушно и бесстрастно рассказчик и, видя, что слушатели все смотрят на него если не с ужасом, то с немим недоумением, как будто почувствовал необходимость пополнить свой рассказ пояснением.

– Видите, – продолжал он, – это стало не от меня, а от него, потому что он во всех Рынъ-песках первый батырь считался и через эту амбицию ни за что не хотел мне уступить, хотел благородно вытерпеть, чтобы позора через себя на азиатскую нацию не положить, но сомлел, беднячок, и против меня не вытерпел, верно, потому, что я в рот грош взял. Ужасно это помогает, и я все его грыз, чтобы боли не чувствовать, а для рассеянности мыслей в уме удары считал, так мне и ничего.

– И сколько же вы насчитали ударов? – перебили рассказчика.

– А вот наверное этого сказать не могу-с, помню, что я сосчитал до двести до восемьдесят и два, а потом вдруг покачнуло меня вроде обморока, я и сбился на минуту и уже так, без счета пушал, но только Савакирей тут же вскоре последний разок на меня замахнулся, а уже ударить не мог, сам, как кукла, на меня вперед и упал: посмотрели, а он мертвый... Тьфу ты, дурак эдакий! до чего дотерпелся? Чуть я за него в острог не попал. Татарва – те ничего: ну, убил и убил: на то такие были кондиции, потому что и он меня мог засечь, но свои, наши русские, даже досадно как этого не понимают, и взъелись. Я говорю: «Ну, вам что такого? что вам за надобность?»

«Как, – говорят, – ведь ты азиата убил?»

«Ну так что же, мол, такое, что я его убил? Ведь это дело любовное. А разве лучше было бы, если бы он меня засек?»

«Он, – говорят, – тебя мог засечь, и ему ничего, потому что он иновер, а тебя, – говорят, – по христианству надо судить. Пойдем, – говорят, – в полицию».

Ну, я себе думаю: «Ладно, братцы, судите ветра в поле»; а как, по-моему, полиция, нет ее ничего вреднее, то я сейчас шмыг за одного татарина, да за другого. Шепчу им: «Спасайте, князь: сами видели, все это было на честном бою...»

Они сжались и пошли меня друг за дружку перепихивать и скрыли.

– То есть позвольте... как же они вас скрыли?

– Совсем я с ними бежал в их степи.

– В степи даже!

- Да-с, в самые Рынь-пески.
- И долго там провели?
- Целые десять лет: двадцати трех лет меня в Рынь-пески доставили, по тридцать четвертому году я оттуда назад убежал.
- Что же, вам понравилось или нет в степи жить?
- Нет-с; что же там может нравиться? скучно и больше ничего; а только раньше уйти нельзя было.
- Отчего же: держали вас татары в яме или караулили?
- Нет-с, они добрые, они этого неблагородства со мною не допускали, чтобы в яму сажать или в колодки, а просто говорят: «Ты нам, Иван, будь приятель; мы, – говорят, – тебя очень любим, и ты с нами в степи живи и полезным человеком будь, – коней нам лечи и бабам помогай».
- И вы лечили?
- Лечил; я так у них за лекаря и был, и самих их, и скотину всю, и коней, и овец, всего больше жен ихних, татарок, пользовал.
- Да вы разве умеете лечить?
- Как бы вам это сказать... Да ведь в этом какая же хитрость? Чем кто заболит – я сабуру дам или калганного корня²⁴, и пройдет, а сабуру у них много было, – в Саратове один татарин целый мешок нашел и привез, да они до меня не знали, к чему его определить.
- И обжились вы с ними?
- Нет-с, постоянно назад стремился.
- И неужто никак нельзя было уйти от них?
- Нет-с, отчего же, если бы у меня ноги в своем виде оставались, так я, наверно, давно бы назад в отечество ушел.
- А у вас что же с ногами случилось?
- Подщетилен я был после первого раза.
- Как это?... Извините, пожалуйста, мы не совсем понимаем, что это значит, что вы были подщетилены?
- Это у них самое обыкновенное средство: если они кого полюбят и удержать хотят, а тот тоскует или попытается бежать, то и сделают с ним, чтобы он не ушел. Так и мне, после того как я раз попробовал уходить, да сбился с дороги, они поймали меня и говорят: «Знаешь, Иван, ты, – говорят, – нам будь приятель, и чтобы ты опять не ушел от нас, мы тебе лучше пятки нарубим и малость щетинки туда пихнем»; ну и испортили мне таким манером ноги, так что все время на карачках ползал.
- Скажите, пожалуйста, как же они делают эту ужасную операцию?
- Очень просто-с: повалили меня на землю человек десять и говорят: «Ты кричи, Иван, погромче кричи, когда мы начнем резать: тебе тогда легче будет», – и сверх меня сели, а один такой искусник из них в одну минуточку мне на подошвах шкурку подрезал да рубленой коневьей гривы туда засыпал и опять с этой подсыпью шкурку завернул и стрункой зашил. После этого тут они меня, точно, ден несколько держали руки связавши, – все боялись, чтобы я себе ран не вредил и щетинку гноем не вывел; а как шкурка зажила, и отпустили: «Теперь, – говорят, – здравствуй, Иван, теперь уже ты совсем наш приятель и от нас отсюда никуда не уйдешь».
- Я тогда только встал на ноги, да и бряк опять на землю: волос-то этот рубленый, что под шкурой в пятах зарос, так смертно больно в живое мясо кололся, что не только шагу ступить невозможно, а даже устоять на ногах средства нет. Сроду я не плакивал, а тут даже в голос заголосил.

²⁴ Сабур – алоэ. Калганый корень – растение, употреблявшееся как пряность и лекарство.

«Что же это, – говорю, – вы со мною, азиаты проклятые, устроили? Вы бы меня лучше, аспиды, совсем убили, чем этак целый век таким калекой быть, что ступить не могу».

А они говорят: «Ничего, Иван, ничего, что ты по пустому делу обижаешься».

«Какое же, – говорю, – это пустое дело, так человека испортить, да еще чтобы не обижаться?»

«А ты, – говорят, – присноровись, прямо-то на следки не наступай, а раскорячком на косточках ходи».

«Тьфу вы, подлецы!» – думаю я себе и от них отвернулся и говорить не стал, и только порешил себе в своей голове, что лучше уже умру, а не стану, мол, по вашему совету раскорякою на щиколотках ходить; но потом полежал-полежал, – скука смертная одолела, и стал присноравливаться и мало-помалу пошел на щиколотках ковылять. Но только они надо мной через это нимало не смеялись, а еще говорили: «Вот и хорошо, и хорошо, Иван, ходишь».

– Экое несчастье, и как же вы это пустились уходить и опять попались?

– Да невозможно-с; степь ровная, дорог нет, и есть хочется... Три дня шел, ослабел не хуже лиса, руками какую-то птицу поймал и сырую ее съел, а там опять голод, и воды нет... Как идти?... Так и упал, а они отыскали меня и взяли и подщетишили.

Некто из слушателей заметил по поводу этого подщетишиванья, что ведь это, должно быть, из рук вон неловко ходить на щиколотках.

– Попервоначально даже очень нехорошо, – отвечал Иван Северьяныч, – да и потом хоть я изловчился, а все много пройти нельзя. Но только зато они, эта татарва, не стану лгать, обо мне с этих пор хорошо печалились.

«Теперь, – говорят, – тебе, Иван, самому трудно быть, тебе ни воды принести, ни что прочее для себя сготовить неловко. Бери, – говорят, – брат, себе теперь Наташу, – мы тебе хорошую Наташу дадим, какую хочешь выбирай».

Я говорю: «Что мне их выбирать: одна в них во всех польза. Давайте какую попало». Ну, они меня сейчас без спора и женили.

– Как! женили вас на татарке?

– Да-с, разумеется, на татарке. Сначала на одной, того самого Савакирея жене, которого я пересек, только она, эта татарка, вышла совсем мне не по вкусу: благая какая-то и все как будто очень меня боялась и нимало меня не веселила. По мужу, что ли, она скучала, или так к сердцу ей что-то подступало. Ну, так они заметили, что я ею стал отягощаться, и сейчас другую мне привели, эта маленькая была девочка, не более как всего годов тринадцати... Сказали мне: «Возьми, Иван, еще эту Наташу, эта будет утешнее».

Я и взял.

– И что же: эта точно была для вас утешнее? – спросили слушатели Ивана Северьяныча.

– Да, – отвечал он, – эта вышла поутишнее, только порою, бывало, веселит, а порою тем докучает, что балуется.

– Как же она баловалась?

– А разное... Как ей, бывало, вздумается; на колени, бывало, вскочит; либо спишь, а она с головы тубетейку ногой скопнет да закинет куда попало, а сама смеется. Станешь на нее грозиться, а она хохочет, заливается, да, как русалка, бегать почнет, ну а мне ее на карачках не догнать – шлепнешься, да и сам рассмеешься.

– А вы там, в степи, голову брили и носили тубетейку?

– Брил-с.

– Для чего же это? верно, хотели нравиться вашим женам?

– Нет-с; больше для опрятности, потому что там бань нет.

– Таким образом, у вас, значит, зараз было две жены?

– Да-с, в этой степи две; а потом у другого хана, у Агашимолы, кой меня угонил от Отучева, мне еще две дали.

– Позвольте же, – запытал опять один из слушателей, – как же вас могли угнать?

– Подвохом-с. Я ведь из Пензы бежал с татарвою Чепкуна Емгурчеева и лет пять подряд жил в емгурчеевской орде, и тут съезжались к нему на радости все князья, и уланы, и шихзады, и мало-зады, и бывал хан Джангар и Бакшей Отучев.

– Это которого Чепкун сек?

– Да-с, тот самый.

– Как же это... Разве Бакшей на Чепкуна не сердился?

– За что же?

– За то, что он так порол его и лошадь у него отбил?

– Нет-с, они никогда за это друг на друга не сердятся: кто кого по любовному уговору перебьет, тот и получай, и больше ничего; а только хан Джангар мне, точно, один раз выговаривал... «Эх, – говорит, – Иван, эх, глупая твоя башка, Иван, зачем ты с Савакиреем за русского князя сечься сел, я, – говорит, – было хотел смеяться, как сам князь рубаха долой будет снимать».

«Никогда бы, – отвечаю ему, – ты этого не дождал».

«Отчего?»

«Оттого, что наши князья, – говорю, – слабодушные и не мужественные, и сила их самая ничтожная».

Он понял.

«Я так, – говорит, – и видел, что из них, – говорит, – настоящих охотников нет, а все только если что хотят получить, так за деньги».

«Это, мол, верно: они без денег ничего не могут». Ну а Агашимола, он из дальней орды был, где-то над самым Каспием его косяки ходили, он очень лечиться любил и позвал меня свою ханшу попользовать и много голов скота за то Емгурчею обещал. Емгурчей меня к нему и отпустил: набрал я с собою сабуру и калганного корня и поехал с ним. А Агашимола как взял меня, да и гайда в сторону со всем кочем, восемь дней в сторону скакали.

– И вы верхом ехали?

– Верхом-с.

– А как же ваши ноги?

– А что же такое?

– Да волос-то рубленый, который у вас в пятках был, разве он вас не беспокоил?

– Ничего; это у них хорошо приноровлено: они эдак кого волосом подщетилят, тому хорошо ходить нельзя, а на коне такой подщетенный человек еще лучше обыкновенного сидит, потому что он, раскорякой ходючи, всегда ноги колесом привыкает держать и коня, как обручем, ими обтянет так, что ни за что его долой и не сбить.

– Ну и что же с вами далее было в новой степи у Агашимолы?

– Опять и еще жесточе погибал.

– Но не погибли?

– Нет-с, не погиб.

– Сделайте же милость, расскажите: что вы дальше у Агашимолы вытерпели.

– Извольте.

7

– Как Агашимолова татарва пригонили со мной на становище, так и гайда на другое, на новое место пошли и уже не выпустили меня.

«Что, – говорят, – тебе там, Иван, с Емгурчевыми жить, – Емгурчей вор, ты с нами живи, мы тебя с охотой уважать будем и хороших Наташ тебе дадим. Там у тебя всего две Наташи было, а мы тебе больше дадим».

Я отказался.

«На что, – говорю, – мне их больше? мне больше не надо».

«Нет, – говорят, – ты не понимаешь, больше Наташ лучше: они тебе больше Колек нарожают, все тебя тяткой кричать будут».

«Ну, – говорю, – легко ли мне обязанность татарчат воспитывать. Кабы их крестить и причащать было кому, другое бы еще дело, а то что же: сколько я их ни умножу, все они ваши же будут, а не православные, да еще и обманывать мужиков станут, как вырастут». Так двух жен опять взял, а больше не принял, потому что если много баб, так они хоть и татарки, но ссорятся, поганые, и их надо постоянно учить.

– Ну-с, и что же, любили вы этих ваших новых жен?

– Как-с?

– Этих новых жен своих вы любили?

– Любить?.. Да, то есть вы про это? Ничего, одна, что я от Агашимолы принял, была до меня услужлива, так я ее ничего... сожалел.

– А ту девочку, что прежде молоденькая-то такая у вас в женах была? она вам, верно, больше нравилась?

– Ничего; я и ее жалел.

– И скучали, наверно, по ней, когда вас из одной орды в другую украли?

– Нет; скучать не скучал.

– Но ведь у вас, верно, и там от тех от первых жен дети были?

– Как же-с, были: Савакиреева жена родила двух Колек да Наташку, да эта, маленькая, в пять лет шесть штук породила, потому что она двух Колек в один раз парю принесла.

– Позвольте, однако, спросить вас: почему вы их все так называете «Кольками» да «Наташками»?

– А это по-татарски. У них все если взрослый русский человек – так Иван, а женщина – Наташа, а мальчиков они Кольками кличут, так и моих жен, хоть они и татарки были, но по мне их все уже русскими числили и Наташками звали, а мальчишек Кольками. Однако все это, разумеется, только поверхностно, потому что они были без всех церковных таинств, и я их за своих детей не почитал.

– Как же не почитали за своих? почему же это так?

– Да что же их считать, когда они некрещеные-с и миром не мазаны.

– А чувства-то ваши родительские?

– Что же такое-с?

– Да неужто же вы этих детей нимало и не любили и не ласкали их никогда?

– Да ведь как их ласкать? Разумеется, если, бывало, когда один сидишь, а который-нибудь подбежит, ну ничего, по головке его рукой поведешь, погладишь и скажешь ему: «Ступай к матери», – но только это редко доводилось, потому мне не до них было.

– А отчего же не до них: дела, что ли, у вас очень много было?

– Нет-с; дела никакого, а тосковал: очень домой в Россию хотелось.

– Так вы и в десять лет не привыкли к степям?

– Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо, вся татарва от зною попадает по шатрам и спит, а я подниму у своего шатра полочку и гляжу на степи... в одну сторону и в другую – все одинаково... Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется, и по ветерку запах несет: овцой пахнет, а солнце обливает, жжет, и степи, словно жизни тягостной, нигде конца не предвидится, и тут глубине тоски дна нет... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется обозначается монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь.

Иван Северьяныч остановился, тяжело вздохнул от воспоминания и продолжал:

– Или еще того хуже было на солончаках над самым над Каспием: солнце рдеет, печет, и солончак блестит, и море блестит... Одурение от этого блеску даже хуже, чем от ковыля, делается, и не знаешь тогда, где себя, в какой части света числить, то есть жив ты или умер и в безнадежном аду за грехи мучишься. Там, где степь ковылистее, она все-таки радостней; там хоть по увалам кое-где изредка шалфей сизеет или мелкий полынь и чабрец пестрит белизну, а тут все одно блыщание... Там где-нибудь огонь палом по траве пойдет, – суета поднимется: дрохвы летят, стрепеты, кулики степные, и охота на них затеется. Тудаков этих, или по-здешнему дрохвов, на конях заезжаем и длинными кнутьями засекаем; а там, гляди, надо и самим с конями от огня бежать... Все от этого развлечение. А потом по старому палу опять клубника засядет; птица на нее разная налетит, все больше мелочь этакая, и пойдет в воздухе чирканье... А потом еще где-нибудь и кустик встретишь: таволожка, дикий персичек или чилизник...²⁵ И когда на восходе солнца туман росую садится, будто прохладой пахнет, и идут от растения запахи... Оно, разумеется, и при всем этом скучно, но все еще перенести можно, но на солончаке не приведи господи никому долго побывать. Конь там одно время бывает доволен: он соль лижет и с нее много пьет и жиреет, но человеку там – погибель. Живности даже никакой нет, только и есть, как на смех, одна малая птичка, красноустик, вроде нашей ласточки, самая непримечательная, а только у губок этакая оторочка красная. Зачем она к этим морским берегам летит – не знаю, но как сесть ей постоянно здесь не на что, то она упадет на солончак, полежит на своей хлупи²⁶ и, глядишь, опять схватилась и опять полетела, а ты и сего лишен, ибо крыльев нет, и ты снова здесь, и нет тебе ни смерти, ни живота, ни покаяния, а умрешь, так как барана тебя в соль положат, и лежи до конца света солониною. А еще и этого тошнее зимой на тюбеньке; снег малый, только чуть траву укроет и залубенит – татары тогда все в юртах над огнем сидят, курят... И вот тут они со скуки тоже часто между собою порются. Тогда выйдешь, и глянуть не на что: кони нахохрятся и ходят свернувшись, худые такие, что только хвосты да гривы развеваются. Насилу ноги волочат и копытом снежный наст разгребают и мерзлую травку гложут, тем и питаются, – это и называется «тюбенькуют»... Несносно. Только и рассеяния, что если замечают, что какой конь очень ослабел и тюбеньковать не может – снегу копытом не пробивает и мерзлого корня зубом не достает, – то такого сейчас в горло ножом колют и шкуру снимают, а мясо едят. Препоганое, однако, мясо: сладкое, все равно вроде как коровье вымя, но жесткое; от нужды, разумеется, ешь, а самого мутит. У меня, спасибо, одна жена умела еще коневьи ребра коптить: возьмет как есть коневье ребро, с мясом с обеих сторон, да в большую кишку всунет и над очагом выкоптит. Это еще ничего, сходнее есть можно, потому что оно, по крайней мере, запахом вроде ветчины отдает, но а на вкус все равно тоже поганое. И тут-то этакую гадость гложешь и вдруг вздумаешь: эх, а дома у нас теперь в деревне к празднику уток, мол, и гусей щипят, свиней режут, щи с зашеиной варят жирные-прежирные, и отец Илья, наш священник, добрый-предобрый старичок, теперь скоро пойдет он Христа славить, и с ним дьяки, попадьи и дьячихи идут, и с семинаристами, и все навеселе, а сам отец Илья много пить не может: в господском доме ему дворецкий рюмочку поднесет; в конторе тоже управитель с нянькой вышлет, попотчует, отец Илья и раскиснет и ползет к нам на дворню, совсем чуть ножки волочит пьяненький: в первой с краю избе еще как-нибудь рюмочку прососет, а там уже более не может и все под ризой в бутылочку сливает. Так это все у него семейственно, даже в рассуждении кушанья, он если что посмачнее из съестного увидит, просит: «Дайте, – говорит, – мне в газетную бумажку, я с собой заверну». Ему обыкновенно скажут: «Нету, мол, батюшка, у нас газетной бумаги», – он не сердится, а возьмет так просто и не завернувши своей попадейке передаст, и дальше столь же мирно пойдет. Ах, судари, как это все с детства памятное житье пойдет вспоминаться, и понапрет на душу, и станет вдруг загнетать на печенях, что

²⁵ Чилизник (чилига) – степная полынь.

²⁶ Хлупь (хлуп) – кончик крестца у птицы.

где ты пропадаешь, ото всего этого счастья отлучен, и столько лет на духу не был, и живешь невенчаный, и умрешь неотпетый, и охватит тебя тоска, и... дождешься ночи, выползешь потихоньку за ставку, чтобы ни жены, ни дети и никто бы тебя из поганых не видал, и начнешь молиться... и молишься... так молишься, что даже снег инда под коленами протает и где слезы падали – утром травку увидишь.

Рассказчик умолк и поник головою. Его никто не тревожил; казалось, все были проникнуты уважением к святой скорби его последних воспоминаний; но прошла минута, и Иван Северьяныч сам вздохнул, как рукой махнул; снял с головы своей монастырский колпачок и, перекрестясь, молвил:

– А все прошло, слава Богу!

Мы дали ему немножко поотдохнуть и дерзнули на новые вопросы о том, как он, наш очарованный богатырь, выправил свои попорченные волосяною сечкою пятки и какими путями он убежал из татарской степи от своих Наташей и Колек и попал в монастырь?

Иван Северьяныч удовлетворил это любопытство с полною откровенностью, изменять которой он, очевидно, был вовсе не способен.

8

Дорожа последовательностью в развитии заинтересовавшей нас истории Ивана Северьяновича, мы просили его прежде всего рассказать, какими необыкновенными средствами он избавился от своей щетинки и ушел из плена. Он поведал об этом следующее сказание:

– Я совершенно отчаялся когда-нибудь вернуться домой и увидеть свое отечество. Помышление об этом даже мне казалось невозможным, и стала даже во мне самая тоска замирать. Живу, как статуя бесчувственный, и больше ничего; а иногда думаю, что вот же, мол, у нас дома в церкви этот самый отец Илья, который все газетной бумажки просит, бывало, на служении молится «о плавающих и путешествующих, страждущих и плененных», а я, бывало, когда это слушаю, все думаю: зачем? разве теперь есть война, чтобы о пленных молиться? А вот теперь и понимаю, зачем этак молятся, но не понимаю, отчего же мне от всех этих молитв никакой пользы нет, и, по малости сказать, хоша не неверую, а смущаюсь, и сам молиться не стал.

«Что же, – думаю, – молить, когда ничего от того не выходит».

А между тем вдруг однажды слышу-послышу: татарва что-то сумятятся.

Я говорю: «Что такое?»

«Ничего, – говорят, – из вашей стороны два муллы пришли, от белого царя охранный лист имеют и далеко идут свою веру уставлять».

Я бросился, говорю: «Где они?»

Мне показали на одну юрту, я и пошел туда, куда показали. Прихожу и вижу: там собрались много ших-задов и мало-задов, и мамов, и дербышей, и все, поджав ноги, на кошмах сидят, а посреди их два человека незнакомые, одеты хотя и по-дорожному, а видно, что духовного звания; стоят оба посреди этого сброда и слову Божьему татар учат.

Я их как увидал, взрадовался, что русских вижу, и сердце во мне затрепетало, и упал я им в ноги и зарыдал. Они тоже этому моему поклону обрадовались и оба воскликнули: «А что? а что? видите! видите, как действует благодать, вот она уже одного вашего коснулась, и он обращается от Магомета».

А татары отвечают, что это, мол, ничего не действует: это ваш Иван, он из ваших, из русских, только в плену у нас здесь проживает.

Миссионеры очень этим недовольны сделались. Не верят, что я русский, а я и встрял сам:

«Нет, – я говорю, – я, точно, русский! Отцы, – говорю, – духовные! смилуйтесь, выручите меня отсюда! Я здесь уже одиннадцатый год в плену томлюсь, и видите, как изувечен: ходить не могу».

Они, однако, нимало на эти мои слова не уважили и отвернулись и давай опять свое дело продолжать: все проповедуют.

Я думаю: «Ну что же на это роптать: они люди должностные, и, может быть, им со мною неловко иначе при татарах обойтись», – и оставил, а выбрал такой час, что они были одни в особой ставке, и кинулся к ним, и уже со всею откровенностью им все рассказал, что самую жестокую участь претерпеваю, и прошу их:

«Попугайте, – говорю, – их, отцы-благодетели, нашим батюшкой белым царем: скажите им, что он не велит азиатам своих подданных насильно в плену держать, или, еще лучше, выкуп за меня им дайте, а я вам служить пойду. Я, – говорю, – здесь живучи, ихнему татарскому языку отлично научился и могу вам полезным человеком быть».

А они отвечают:

«Что, – говорят, – сыне: выкупу у нас нет, а пугать, – говорят, – нам неверных не позволено, потому что и без того люди лукавые и непреданные, и с ними из политики мы вежливость соблюдаем».

«Так что же, – говорю, – стало быть, мне из-за этой политики так тут целый век у них и пропадать?»

«А что же, – говорят, – все равно, сыне, где пропадать, а ты молись: у Бога много милости, может быть Он тебя и избавит».

«Я, мол, молился, да уже сил моих нет и упование отложил».

«А ты, – говорят, – не отчаивайся, потому что это большой грех!»

«Да я, – говорю, – не отчаиваюсь, а только... как же вы это так... мне это очень обидно, что вы русские и земляки – и ничего пособить мне не хотите».

«Нет, – отвечают, – ты, чадо, нас в это не мешай, мы во Христе, а во Христе нет ни еллин, ни жид: наши земляки все послушенствующие. Нам все равны, все равны».

«Все?» – говорю.

«Да, – отвечают, – все, это наше научение от апостола Павла. Мы куда приходим, не ссоримся... это нам не подобает. Ты раб и, что делать, терпи, ибо и по апостолу Павлу, – говорят, – рабы должны повиноваться. А ты помни, что ты христианин, и потому о тебе нам уже хлопотать нечего, твоей душе и без нас врата в рай уже отверзты, а эти во тьме будут, если мы их не присоединим, так мы за них должны хлопотать».

И показывают мне книжку.

«Вот ведь, – говорят, – видишь, сколько здесь у нас человек в этом реестре записано, – это все мы столько людей к нашей вере присоединили!»

Я с ними больше и говорить не стал и не видел их больше, как окромя одного, и то случаем: пригонил отколь-то раз один мой сынишка и говорит: «У нас на озере, тятка, человек лежит».

Я пошел посмотреть: вижу, на ногах с колен чулки содраны, а с рук по локти перчатки сняты, татарва это искусно делают: обчертит да дернет, так шкуру и снимет, – а голова этого человека в сторонке валяется, и на лбу крест вырезан.

«Эх, – думаю, – не хотел ты за меня, земляк, похлопотать, и я тебя осуждал, а ты вот сподобился и венец страдания приял. Прости меня теперь ради Христа!»

И взял я его перекрестил, сложил его головку с туловищем, поклонился до земли, и закопал, и «Святой Боже» над ним пропел, – а куда другой его товарищ делся, так и не знаю; но только тоже, верно, он тем же кончил, что венец приял, потому что у нас после по орде у татарок очень много образков пошло, тех самых, что с этими миссионерами были.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.